



## **ВИРУС ПОДЛОСТИ**

*Андрей Бинев*

*Нравственность - это как цвет глаз.  
С какими родился, с такими и умрешь.*

Андрей Бинев  
**Вирус подлости**

«Автор»

**Бинев А.**

Вирус подлости / А. Бинев — «Автор»,

ISBN 978-5-373-03263-6

«Нет в этой истории ничего такого, что могло бы удивить, если просто пересказать ее как короткий основательный сюжет. Время было такое, люди, отношения, страхи, надежды – всё было именно таким! Другим и быть, казалось бы, не могло. Однако же, если взглядеться и вслушаться в то, что и составляет основу сюжета, то найдешь в нем столько поражающих сопутствующих факторов, что ненароком вспомнишь, например, об опасности, которую таит в себе ядерная бомба – не только разрушительная ударная волна, не только болезненно «очевидная» вспышка, сжигающая вмиг роговицу глаза, но и масса других смертельных «неудобств», которые догонят любой выживший организм через десятки лет...»

ISBN 978-5-373-03263-6

© Бинев А.

© Автор

## Содержание

Часть первая	5
Сословные тайны	6
Рыцарь серого плаща и машинописной строки	8
Фантомы классовых боев	11
Физики и лирики	17
Вред и польза привычек	21
Венская партия	22
Дебют	25
Кёльнская «катастрофа»	27
К доктору!	31
Венский розыгрыш	34
Три имени – один человек	42
Венский дебют Постышева	45
«Немецкая волна»	49
Ботинки Постышева	52
Ночные кошмары	54
Завершение венской партии	56
Кёльнский реванш	61
Первый опыт	67
Конец ознакомительного фрагмента.	71

# Андрей Бинев

## Вирус подлости

*«Гамлет:*

*А, флейты! Дайте мне одну на пробу. Отойдите в сторону. Что это вы все вьетесь вокруг, точно хотите загнать меня в какие-то сети?»*

*«Нравственность – как цвет глаз. С какими родился – с такими и умрешь. Это не столько нравственное, сколько клиническое замечание».*

*Профессор Зураб Кекелидзе,  
психиатр*

## Часть первая

### Пойми меня правильно

Нет в этой истории ничего такого, что могло бы удивить, если просто пересказать ее как короткий основательный сюжет. Время было такое, люди, отношения, страхи, надежды – всё было именно таким! Другим и быть, казалось бы, не могло.

Однако же, если взглядеться и вслушаться в то, что и составляет основу сюжета, то найдешь в нем столько поражающих сопутствующих факторов, что ненароком вспомнишь, например, об опасности, которую таит в себе ядерная бомба – не только разрушительная ударная волна, не только болезненно «очевидная» вспышка, сжигающая вмиг роговицу глаза, но и масса других **смертельных** «неудобств», которые догонят любой выживший организм через десятки лет.

А сам сюжет таков: в конечный советский период, во второй половине восьмидесятых годов, журналист крупнейшего государственного агентства, имевшего право даже делать ответственные политические заявления от имени того же государства, подвергся преследованию со стороны мстительного КГБ. Работая за границей, а именно – будучи на постоянной репортерской службе в Австрии, он в конце концов сбежал из-под наблюдения чекистов с помощью одной из служб американской разведки. Уже позже чекисты потребовали от него как можно скорее вернуться в СССР, шантажируя судьбой первой жены и ребенка, живших в Москве. Вторая его семья – тоже жена и тоже ребенок сбежали с ним.

Выбор, казалось бы, очень простой – с одной стороны, свобода в Западной Европе со своей второй семьей или же, с другой стороны, тюрьма в СССР, зато свобода и даже сама жизнь для первой, и без того обделенной судьбой, семьи.

Да вот только не так тривиален этот выбор, как кажется. Даже, напротив! Он очень и очень непрост! Более того, он – чудовищно трагичен! Потому что сюда втравлены все человеческие чувства, многие человеческие подлости и некоторые человеческие иллюзии.

## Сословные тайны

Андрей Евгеньевич и Лариса Алексеевна Саранские, супруги с немалым стажем совместной борьбы с житейскими бедами, ехали на посольской машине по окраине Кёльна. Узкие улочки всегда заканчивались небольшим перекрестком со светофором. Огонечки на светофорах перескакивали быстро с одного цвета на другой, и машины не застаивались. Торопиться не следовало, потому что остановка почти никакого времени не отнимала.

Андрей Евгеньевич, мелкий, сухощавый мужчина лет за сорок, считался счастливым: ему всегда везло, за что бы он ни брался. Началось всё с детства – родился в семье, в которой все взрослые мужчины вступили в большевистскую партию в январе двадцать четвертого года, трагическим ленинским набором, и тут же пошли в гору, все одновременно. При этом происхождение у семьи было, вроде бы, не пролетарским и не крестьянским, и к интеллигенции, и к мещанству, а также и к дворянству никакого отношения не имели. Не были и аристократами, августейшая кровь в их жилах не текла. Не состояли в родстве и с иностранцами. Никто не мог до конца разобраться, откуда на эту землю пришел род Саранских и к какому сословию относился. В документах, правда, везде писали – «трудовое крестьянство», а иной раз даже – «пролетарии». Однако же Андрей Евгеньевич знал твердо, кто они и откуда родом.

Это поведал ему отец, писавший везде в анкетах: «происходим из мордовского крестьянства, в роду – крепостные».

– Мы, сынок, из «жеребьячьего» сословия, из священников..., то есть из попов. Вот, кто мы есть такие!

– Батя! – хлопал глазами в подростковом возрасте Андрей Евгеньевич, – Да как же! Ну, хоть бы эти... люмпены, что ли, были! А то – попы! Стыд-то какой!

– Дурак ты, ей-богу! – негодовал отец, – Да мы в Саранске первыми людьми были! Оттуда и фамилия наша. На самом деле, первоначально, мы – Корягины, крепостные помещика Аркадия Баблинского. Рассказывают, гадкий был человечиска! Судили его при батюшке Александре Втором за какую-то мерзость. Не то украл чего-то, не то даже сразбойничал! Тогда у него все его крестьянские души в казну конфисковали, Корягиных, конечно, туда же перевели, а оттуда уж дали всем вольные. Вот нас и определили, как грамотных, в писари, а прадеда твоего даже командировали учиться в семинарию и фамилию новую дали. Саранские! Благородно!

– А чего ж и ты, и дед пишете – «крестьяне», а то и «пролетарии»! – возмущался несмышленный еще подросток Андрей Саранский.

– А от того, сын, что власть сменилась, и священники стали не нужны. Твой дед только два года с кадилом-то почадил в церквах, в семинарии маленько поучился, как его батюшка, а тут и революция подоспела. Ну, бросил он это жеребьячье дело, как тогда говаривали, записался в милицию, потом – еще год в ЧК, а после уж и в партию вступил, в двадцать четвертом. «Освобожденным» секретарем даже был, на текстильном производстве, где маманю мою, бабу твою, на складе, на тряпках-то и уговорил. Опять учился, работал, ...рос, понимаешь... над собой и над людьми. Он еще в семнадцатом писать начал в анкетах-то, что мы из крепостных, врагами народа замордованные... Не врал..., и про замордованных не врал, потому как он, может, имел в виду совсем не то...

– А что! – глуповато раскрывал рот Андрей, страдавший, сколько себя помнил, хроническим насморком.

– А то, сопливый, что из Мордвы мы! Вот и есть замордованные! – отец громко, раскатисто хохотал.

Сам же он служил в центральном профсоюзе, в административном отделе. Занимался учетом профсоюзных членов какой-то важной промышленности, вел картотеку, копию которой отправлял сначала в ОГПУ, потом в НКВД, а перед самой пенсией, за год до нее, – в КГБ.

Умер он прямо на службе, за столом, от мгновенного сердечного удара, не скопировав очередной список «обновленных» членов профсоюза. Для чего в органах государственной безопасности требовались эти «члены», Евгений Саранский, отец Андрея Евгеньевича, не знал, но даже не удивлялся требованиям, а вел себя исключительно дисциплинированно и исполнительно.

## Рыцарь серого плаща и машинописной строки

Андрей Евгеньевич ни по стопам деда, ни по стопам отца не пошел – он не служил на текстильном производстве и податливых бабешек на тряпичные склады не затаскивал, не делал и копий списков профсоюзных членов для чекистов. К тому времени, правда, они этим анахронизмом интересоваться перестали, а ему, Андрею Евгеньевичу, это было не интересно, мелко это было!

Он сам пошел в ЧК. Пришел после армии (а служил бензозаправщиком на военном аэродроме), и прямо – в райотдел КГБ. Так, мол, и так. Желаю быть полезным!

Его попросили подождать, а пока поработать где-нибудь, или, на крайний случай, поступить куда-нибудь на учебу – хоть в техникум, хоть даже в институт, а еще лучше – в университет. Нелишне будет сказать, что в армии Андрей Саранский вступил в коммунистическую партию. Год он сначала проходил в кандидатах, а перед самой демобилизацией получил заветный партийный билет.

Из КГБ не звали. Андрей Евгеньевич сначала ждал, потом сильно расстраивался, что о нем забыли и даже заболел депрессией – так ему было обидно. Но депрессия постепенно отошла, остался лишь горький ее осадок. За это время он устроился работать в автобусный парк водителем, а к началу следующего года поступил в автодорожный техникум.

Вот тогда его и призвали в КГБ. Он и не знал уже, радоваться ли ему или горевать, потому что впереди маячила карьера в автобусном парке, и по партийной линии, и по административной, а тут – КГБ.

Чекисты настоятельно посоветовали поменять место учебы – уж больно узким обещало стать избранное им место. Дали свою рекомендацию, выбили партийную характеристику в парке, и нежданно-негаданно поступил Андрей Евгеньевич Саранский на журналистский факультет московского университета. Днем учился как студент, а по вечерам занимался в специальной, секретной школе как слушатель. По ночам зубрил и то, и другое. Почти не спал, уставал как ишак! По его же выражению.

Университет, тем не менее, окончил с довольно приличными оценками, так же, как и вторую, «вечернюю» школу.

«Профилирующим» языком, как говорилось в лингвистических учебных заведениях, был немецкий. Его он еще в средней школе зубрил и кое-как даже читал адаптированные книжки. А по окончании своих высших учебных учреждений он уже очень неплохо болтал по-немецки и даже более или менее внятно изъяснялся по-английски.

Карьера Андрея Евгеньевича развивалась без страстных всплесков, но и без депрессивных впадин. Сначала он работал на «внутренних линиях», то есть, как говорили в его секретном ведомстве, набатывал стаж и опыт. В обязанности Саранского входило сопровождение по стране то в качестве переводчика, то от имени какой-нибудь газеты, вроде «Карельского рабочего» или «Латвийского морехода» иностранных гостей, выезжая с ними в качестве специального корреспондента. Ему приходилось сначала «вычислять» вражеского разведчика или контрразведчика, спрятавшегося внутри западногерманской делегации, а потом, после получения соответствующих заданий, включаться в его разработку. ...Если, конечно, до этого дошло бы дело!

Выявление врагов было делом настолько трудным, а они сами – настолько глубоко конспирировались, что за всё время «внутренней» службы Андрею Саранскому не удалось распознать ни одного из них, и даже обоснованно кого-нибудь заподозрить. Но работы все равно хватало – нужно было находить слабые стороны у принимающей, советской, стороны, которые могли бы гипотетически поспособствовать проникновению вражеского агента. Это была, своего рода, профилактическая деятельность, которая до такой степени запугивала разного

рода председателей, директоров, секретарей и прочих советских деятелей, что они готовы были на всё, лишь бы отбиться от подозрительного, проникновенного взгляда Андрея Евгеньевича Саранского. Из некоторых командировок Андрей Евгеньевич приезжал с щедрыми подарками, а бывали случаи, когда подарки (например, даже кухонная мебель или тончайший фарфор, а раз как-то женская шуба и персидский ковер ручной работы) приходили к нему домой уже оплаченные и оформленные, как безобидные образцы.

Когда Андрей Евгеньевич женился на Ларисе Алексеевне, его теща, уже очень немолодая вдова, облизывая полные губы, ворчала:

– Одни образцы в доме! Хоть образа выноси!

Однако же все в доме были довольны. В те-то времена, когда ничто более или менее «приличное» людям в СССР доступно не было, любой подарок, любое приобретение необыкновенно ценилось! Это был период менового счастья – деньги, в руках у тех, кому они не предназначались в соответствии с государственной доктриной, могли лишь принести несчастье, увлечь в беду, а вот предметы обихода и, тем более, комфорта играли, своего рода, компенсационную роль. Гражданин – государству свои услуги, свою преданность, а оно ему, в обмен, частицу овеществленного «мещанского счастья», прямо со специального склада-распределителя или даже непосредственно из-за кордона, в дозволенных случаях. Контроль за таким, «меновым» счастьем, осуществлялся исключительно строго, потому что социализм – это вообще, по авторитетному мнению, идейного классика, контроль. Так что, Саранские жили в соответствии со временем и с его «железобетонными» правилами, утвержденными раз и навсегда на одной шестой земной тверди.

Вскоре у молодой пары родилась двойня – две очаровательные девочки, так похожие друг на друга, что Андрей Евгеньевич с умилением говорил, что сделал их под копирку. Жена хмурилась, морщила носик, сердилась, а он шутливо грозил ей пальцем и в присутствии потешавшихся гостей властно отрезал:

– В другой раз, милая, потребую штучной работы. Но пока отдыхай. В качестве тренировки, на первых порах, сойдет и эта..., сочковая...!

У жены закипали горячие слезы на глазах, потому что даже кормление младенцев ей давалось с великим трудом – молока не хватало; они же истощали ее полностью, вытягивая всю до капельки, и обессиленная молодая мама горько страдала от того, что детки голодны и что она не в силах помочь им. Саранский бегал по утрам в «молочную кухню» и таскал за пазухой домой, грея их своим тщедушным телом, пузырьки с молоком. И всё равно шутил, балагурил, посмеивался над собой и женой. Он слыл человеком с юмором, пусть и несколько резким, царапающим, но все же добросердечным, способным безжалостно повернуться острием к самому себе. А это в русской среде редкое качество. Оно, скорее, типично для еврейского остроумия.

– Шутишь, как еврей! – однажды, расхохотавшись над какой-то подобной шуткой, утирая радостные, веселые слезы, прыснул ему в лицо один из секретных начальников, полный, лысоватый мужчина, известный в их узкой профессиональной среде как законченный антисемит.

Саранский осекся, густо покраснел, жена от испуга раскрыла рот и с немым упреком, качая головой, с отчаянием посмотрела на него. С тех пор Андрей Евгеньевич, что называется, прикусил язык и навсегда сменил тон в компанейском общении – никаких «шутков юмора», никакого ерничанья! «Каждому овощу свой фрукт» – говаривал он, позволяя теперь себе лишь эту, избитую, шутку, которой, как ни старайся, ни политики, ни национальной идентификации никак не пришьешь.

Рождение детей, однако, не позволило Саранским еще долго выезжать за границу вместе. Ездил лишь один Андрей Евгеньевич, да и то, краткосрочно. В посольствах, в консульствах, в торговых представительствах его также побаивались, как и во «внутренних командировках», так как он слыл большим мастером по ревизии «контрразведывательного обеспечения», и все

недостатки видел сразу. Из-за границы Андрей Евгеньевич привозил бутылки со спиртным в огромном количестве, дорогой табак и сигары (исключительно для подарков), джинсы, кофточки, три «двухкассетника», радиолу, проигрыватель, два телевизора, а позже только-только появившиеся видеомагнитофоны (и себе, и всему своему начальству). То были времена, когда подобная техника ценилась чуть ли ни как квартира или машина. Во всяком случае, обстановка в доме без этих звучных, блестящих предметов считалась неполноценной, недостойной социального статуса владельца. Обладание же ими свидетельствовало о принадлежности к особой касте людей, к которым власть относилась если уж не доверительно, то, во всяком случае, терпимо. Не терпеливо, а терпимо, что составляло принцип подбора ее кадрового резерва.

Терпеливо же относились лишь к тем, кого выстраивали (тайно или явно) в очередь к следователю государственной безопасности. Подождите, мол, дойдет и до вас очередь! И тут обнаружение в доме того самого «менового счастья», то есть предметов роскоши, могло вполне быть включено в обвинительное заключение при передаче дела в «народный суд». Одно и то же могло играть и позитивную, и отрицательную роль. В этом была и остается до сих пор универсальность русского государственного устройства, его гибкость внутри собственной жесткой формы. Усвоивший это и следующий этим неписанным, традиционным правилам защищен уже наполовину от прессы сверху и топи снизу. Вторая же половина защиты носит исключительно персональный характер, то есть анкетный. Тут уж с чем родился, под какой звездой расцвела твоя жизнь когда-то, с тем и уйдешь. Наверное, поэтому Саранские так серьезно относились к вопросу о происхождении фамилии, и поэтому они так вдохновенно ввали о том времени, которое последовало за освобождением от крепостной зависимости. По всей видимости там, где следовало, знали об этом, но ведь «малая компрометирующая» информация позволяет использовать субъекта на малых должностях, а «крупная компрометирующая» информация – даже на крупных, стратегических.

Малые семейные грехи у Саранских в крупные так и не переросли (масштаб оказался не тот!), поэтому и вся дальнейшая карьера Андрея Евгеньевича прошла под знаком умеренности.

## Фантомы классовых боев

...Девочки Саранских немного подросли (совершенно параллельно, нисколько не отличаясь друг от друга, ни в малейшей степени!) и их, наконец, удалось оставить с бабушкой и ее одинокой младшей сестрой в Москве. Саранские получили направление в Вену, в советское посольство. Андрей Евгеньевич был назначен на негромкую должность «пресс-атташе», которая всегда была зарезервирована за его секретной службы.

Однако же легка беда начала! Его сразу устроили (для «оперативного прикрытия», как выразился один из важных начальников) собственным корреспондентом газеты в Австрии со сложным, непонятным для иностранного уха названием «Индустриальная жизнь Советского Урала» (“The Soviet Ural’s Industrial Life”) и слал оттуда пространные очерки о том, как «загнивает западная индустрия», как ветшает жизнь «рядового рабочего» и обогащаются за счет его голодающих детишек жадные австрийские милитаристы и капиталисты. Доставалось и ближайшим западным немцам, и итальянцам, и французам и, конечно, американцам, насаждавшим здесь свой «гнилой образ жизни». Эту свою «захватническую» деятельность он называл «творческим аншлюсом». У читателя же создавалось впечатление, что журналист и дипломат Андрей Евгеньевич Саранский находится на фронтовой черте, среди жестоких, циничных врагов и нищенствующих, лишенных настоящего и будущего, пролетарских австрийских друзей.

Читатели «Индустриальной жизни Советского Урала», жестоко битые камнепадом статей своего бойкого и смелого автора, уже несколько иначе относились к тому, что сами не могут дожить со своими мелкими зарплатами даже до середины месяца, что нет никакой возможности устроить детей в детский сад или в ясли, что очередной, долгожданный отпуск опять придется провести дома, в душном, заводском городишке, потому что нет ни средств, ни возможностей уехать даже по какой-нибудь дешевой профсоюзной путевке на юг к морю. Они уже по-другому смотрели на то, что пиво в ларьке продается не чаще двух раз в неделю, а то, что продается, скорее отходный продукт пивоваренной промышленности, чем ее законченное изделие; иначе, с большей симпатией, они теперь относились к единственному виду предлагаемой им водки, от которой воняло так же, как от солярки, заправляемой в их грязном цеху в какой-то дымный, вибрирующий, звенящий промышленный агрегат; им уже было неудобно сетовать на куски бумаги в «крахмальной» колбасе, за которой они сами, их жены, матери, сестры и тещи выстаивали в областном центре или в столице в многочасовые серые, злые очереди; их уже не возмущала непролазная грязь от строящегося уже десятый год цеха прямо на их ежедневном пути к заводским воротам; уже не так остро беспокоили едкие запахи от развалившейся, деревянной общественной уборной на одной из окраинных городских площадей – уборная та возвышалась над кучей собственной обледенелой жижи, ползущей из-под нее наподобие остывающей плазмы, ...просто некому всё это было убирать и чистить; не так уже теперь сердила бесконечная череда «черных» суббот и воскресений, когда приходилось «ударным трудом», а точнее – безумным сатанинским авралом настичать то, что, казалось бы, недосыгаемо ушло в будущее на серых, скучных бумагах, озаглавленных тогда «социалистическими обязательствами». Только ли это! А бесконечные, пожизненные очереди за кучей металлолома, называемого продуктом советской автомобильной промышленности, с последующей потерей этого добра, которому была отдана чуть ли не вся жизнь, в прожорливой империи советской коррозии – от прямого своего значения до всех возможных его интерпретаций! И прочее, прочее, прочее... Сейчас многие всё это подзабыли, придавленные нынешней нуждой, но тогда то была сама жизнь в провинции, а не редко и в крупных индустриальных городах. Преодолеть это было невозможно. Спасала лишь недалекая мысль, что где-то, за рубежами, наверное, бывает и хуже или даже просто плохо. Поэтому вместо продуктов и услуг предлагали иностранные «зрелища» на марких страницах советской прессы.

Словом, публикации Саранского из вертепа разврата, нищеты и депрессии в самом сердце старушки Европы воспитывали куда больше, чем навязчивое бахвальство о взятии новых высот советской промышленностью ее передовым трудовым отрядом, пролетариями, и об одолении тайных и явных врагов системы не менее передовым, но, в отличие от первого, вооруженным до крепких зубов боевым отрядом тогдашней коммунистической партии – суровыми чекистами. Хотя в сочетании всё это давало удивительно высокий результат – «народ безмолвствовал», а власть крепла. С тех пор мало что изменилось, разве что ко всему добавились каменные плиты кредитов и самодовольное богатство несменяемой власти «новых» хозяев со старыми анкетами. Однако же вернемся в те времена.

Почти спонтанно в уральском промышленном городе возникло движение помощи «голодающим Австрии». Его «застрельщицей» стала эмоциональная, чувствительная до горячих, яростных слез пионервожатая Надя из одной из средних общеобразовательных школ в секретном уральском городе. Она собирала на пионерские «линейки» младшие классы и, и потрясая кулачками, играя желваками на своих еще детских, розовых скулах, требовала прекратить издевательства над голодными австрийскими детками. Столбеневшие от неожиданного открытия для себя мерзостных жестокостей, возможных ещё, оказывается, в «хваленной Западной Европе», шестиклассники и семиклассники как один вскидывали к сизому, тучному небу сжатые кулачки солидарности. Надя объявила сбор материальных пожертвований «нищим детям альпийских предгорий от щедрых детей уральских предгорий». В школу, сначала в одну, потому еще в три, четыре, пять поволокли старую школьную форму, иногда даже нестиранную, нечищеную, обувь, ставшую маленькой или уж совсем, окончательно изодравшуюся, потертые, битые молью шерстяные и байковые одеяла, растерзанные, похудевшие матрасы с радужными, въевшимися разводами, старые кургузые курточки, пальто с облезлыми воротниками, севшие от пота цигейковые шапки. Изумленные детской щедростью учителя по настоящей, с тяжелыми намеками, просьбе Нади и быстро образовавшихся в каждой из школ «революционных комитетов» занялись тщательным отбором жертвенных вещей. Горы рвани и мусора и скромные кучки более или менее приличных подарков лежали в спортивных залах уже всех семи городских общеобразовательных школ. Был объявлен конкурс – всё на весы. «Некондиционные» и «ценные» подарки взвешивались отдельно друг от друга. Объявлялись две номинации – по общему и по «полезному» весу. Долго спорили, какая из номинаций в большей степени свидетельствует о пролетарской, большевистской зрелости коллектива. Пришли к выводу, что вторая, но потом, увидев, что трепет состязания резко идет на убыль, объявили, что первая. Так и метались от одного к другому, а Надя ездила по спортивным залам и придирчиво, с брезгливым лицом татарки-старьевщицы двумя пальцами извлекала из кучки ценных подарков какой-нибудь предмет, вертела перед носом, внюхивалась, всматривалась, примерялась и потом, тяжело вздохнув и покачивая темной своей головой, постреливая чуть раскосыми карими глазами, говорила:

– Ну, ну! Ну, ну! Да хоть бы и это! Чего с вас возьмешь! Жмот на жмоте, жмотом погоняет!

Однажды даже сказала:

– Жида на жиде, жидом погоняет!

Но тут же осеклась, возбужденно покрутила головой и поправилась:

– Это я так..., образно, так сказать. К тому, что австрийских детей угнетают не только свои доморощенные мироеды-капиталисты, но и сионисты... А вообще, мы за интернационал, у нас нет и не может быть никакого национального расизма и прочего там... разного..., империалистического подхода... Так что..., будем считать – «жмот на жмоте», и никак иначе!

Испуганно переглянувшиеся было двое учительниц (завуч и «англичанка»), с облегчением выдохнули. Они происходили как раз из тех семей, которых всегда, во все времена на российских землях подозревали в агрессивном сионизме. Дело в том, что их «сионистские»

родители вывезли из-за нацистской оккупации Украины свои семьи на Урал, и поскольку возвращаться после войны в «расстрельные», растерзанные местечки было до жути страшно и больно, остались здесь, в местах эвакуации.

Пионервожатая Надя всего этого в подробностях не знала, но каким-то свойственным ей политическим чутьем уловила, что путаница между «жмотом» и «жидом» пока что преждевременна, не было, так сказать, сигнала сверху еще. Вот и поправилась.

Закончилось общественное движение с подарками угнетенным австрийским детям также быстро и решительно, как и началось. Рассортированные ценные предметы были зашиты в старые одеяла и в назначенный час приволочены специально выделенными для этого старшими школьниками в центральное почтовое отделение города. Служащие отказались принимать посылки, так как, во-первых, их вес и габариты превышали технические возможности почты, во-вторых, любое отправление за рубеж, особенно, в этом городке, должно было согласовываться в компетентных организациях, и, наконец, в-третьих, (что официально было названо единственной причиной) адрес «Австрия, Вена, голодающим детям» был несколько неточен. Всё это могли вернуть назад из-за «выбытия адресата», как сказала начальница почты.

– Что значит, выбытия! – возмутилась Надя и густо покраснела, – не доживут, что ли? От голода, так сказать...!

– А это нам не известно, девушка! – строго поджала губы многоопытная главная почтальонша.

Она обернулась, чтобы убедиться, что ее никто из посторонних не услышит, и властно зашипела в Надино красное как кумач ухо:

– А разрешение у вас имеется?

– Какое разрешение! – также, свистящим шепотом, недоуменно спросила Надя.

– А вот выясните, какое, – уже громко, с ногами безусловной победы, даже откинувшись назад и выпятив вперед высокую свою грудь, провозгласила окончательный приговор важная почтальонша – И после приходите!

Выяснять сообразительная Надя ничего не стала. Общественники-старшеклассники молча отволокли тюки в старый, полуразрушенный пакгауз в железнодорожном тупике и там брезгливо сбросили. Потом все это куда-то исчезло – говорят, кое-что видели на блошинных рынках в Зауралье, а два заметных пальто (черные, сшитые из путевых шинелей, с красными воротниками) носили, меняясь, голодающие поближе, чем альпийские – из городского детского дома, в котором росли как упрямые сорняки дети осужденных и те, что родились, уже в тюрьмах и зонах.

Так что, Саранский, не ведая того, всколыхнул терпеливо дремавшую на далеком Урале долгие годы классовую солидарность с австрийским пролетариатом. Обнаружилось, что сделать это очень нетрудно, потому что зерна, падающие на подготовленную почву, всегда дадут буйный всход. Однако же в те времена этого еще не требовалось так, как в последующие: в приближающихся веке и тысячелетии. Толпы единомышленников, готовых содрать с себя последнюю рубаху по одному лишь тревожному вскрику из уст вожатых, независимо от года своего рождения, настороже. «Будь готов – всегда готов!»

Движение вовремя прервали областные партийные органы, испугавшись «мирового» скандала с Австрией, и «сигнализовали» в Москву о чрезмерной активности журналиста-международника Андрея Саранского. Ведь кто-то же должен был его остановить, пока не поздно!

Возможно, сейчас всё это выглядит комично, даже по-своему безобидно – мол, недалекий, чудаковатый человечек устроил жалкое, душистое шоу не то по глупости, не то во имя очередной идейной победы над спесивым сытым врагом. Лихо, вроде бы, начал, и никак, бедняга, не остановится!

Но в действительности же это было обыкновением в общественной, журналистской практике тех времен. Организаторы таких шоу ни на секунду не верили в реальность организуемого ими же самим действия, а те, кто позволял им выкручивать из своих податливых, гибких пальцев фиги, направленные в лица «системных противников», нисколько не заботились о правдивости «картинок» и о том, кто является их потребителями в насквозь «невыездной» стране. Это был истинный фронт, на котором действовали идеологические диверсанты, пользующиеся всеми методами тайной войны: от примитивных до самых сложных, запутанных комбинаций.

Именно тогда в СССР появилось движение в защиту чернокожей американской «революционерки» Анжелы Дэвис – с гривой вьющихся мелким бесом волос, быстроглазой, изящной как рослая пантера. В это же время материализовался в главном телевизионном эфире СССР ученый голодранец, астрофизик, страдающий последней стадией ожирения, доктор Хайдер. Он объявил голодовку американским властям, усевшись толстенным задом на хрупкой скамеечке перед Белым Домом в Вашингтоне. 218 дней насмешливый, циничный советский телезритель наблюдал за бородатой, почему-то казавшейся сытой физиономией пожилого американца Чарльза Лейтифа Хайдера, требовавшего от престарелого президента США Рональда Рейгана прекратить атомные испытания и закрыть какие-то ядерные склады в Нью-Мексике. Он также страдал за экологию «окружающей среды», утомляя ее в то же время запахами своего немытого, большого стареющего тела. Дисциплинированные советские журналисты, с камерами, магнитофонами, фотоаппаратами и записными книжками дневали и ночевали рядом со сташестнадцати килограммовым астрофизиком, закутанным в холод и в зной в теплые пледы, одетым в несколько шерстяных свитеров и в неизменную вязаную шапочку. Создавалось впечатление, что астрофизиком ставится какой-то рискованный эксперимент по выживаемости одной человеческой особи в ледяном космосе идеологических войн. Михаил Горбачев, сострадая «мужественному американскому ученому», даже приказал отчеканить медаль в его честь, а в то же время циничная группа «Ноль» сочинила по окончании безрезультатной во всех отношениях (он даже не похудел!) семимесячной голодовки тучного революционера веселую песенку «Доктор Хайдер снова начал есть»: «И в этот трудный час за каждого из нас – доктор Хайдер, доктор Хайдер, доктор Хайдер снова начал есть!»

Тогда же по Пятому авеню в Нью-Йорке демонстративно бродил сухожилий, насмешливый «учитель физкультуры» Джозеф Маури, которого разыскал один бойкий советский журналист, решив «щелкнуть по носу зарвавшихся янки». Этого журналиста в США местные спецслужбы прозвали «черным полковником», будучи уверенными в его связях с КГБ. Однако же за влияние на Маури почти сразу начали биться два мастодонта советской идеологической журналистики, поссорившись навсегда друг с другом. КГБ, идя на поводу у одного из них, оплатило фильм «Человек с Пятого авеню», в котором «бездомный» Маури наивно интересовался у веселых униформенных швейцаров, может ли он, если не купить, то хотя бы снять жильё на этой улице миллионеров за несколько тысяч долларов в месяц. Телезритель, по творческой задумке авторов, должен был с болью в сердце воспринять этот трогательный эпизод из жизни американского бездомного и с благодарностью к своей собственной, щедрой власти обозреть холодные стены собственной окраинной, жалкой, нищей пятиэтажки.

Только потом, много позже, выяснилось, что не был Маури бездомным, и учителем физкультуры тоже не был, а служил он в одной крупнейшей американской газете экспедитором и ни разу в жизни не ночевал под открытым небом или в подвале. А в шестидесятых годах его даже разыскивало КГБ за то, что он, прибывая в СССР на гастролях в составе популярной американской шоу-группы, сошелся с одной голубоглазой русской женщиной и настойчиво тащил ее из Сочи, где она жила и работала переводчиком, с собой в Америку. Такого безобразия власти тогда никак потерпеть не могли! Маури поймали, несмотря на то, что он пытался скрываться, и выставили вон. Несчастный влюбленный во второй раз, с невероятным трудом, при-

ехал в СССР, и всё началось сначала – от признаний в любви к русской красавице до беготни по электричкам от милиционеров, игр в карты с поездными шулерами и, наконец, арестом и интернированием из СССР под бдительным, безжалостным оком суровых агентов КГБ и ФБР.

По другой версии, русская любовь американца Маури жила в Подмоскowie, в Мытищах – в частном доме своих родителей. Маури скрывался от властей в ее спальне на втором этаже, а выдал его милиции отец красотки, старорежимный тип, ненавидящий всё иностранное, чужое. Маури прыгнул со второго этажа, обманув участкового инспектора и местных сыщиков, и стал скрываться в электричках. Здесь он и связался с шулерами, и, говорят, завоевал в их среде специфический авторитет. Его поймали во время какой-то облавы, долго допрашивали сначала в милиции, потом в КГБ, и, наконец, разобравшись во всем, выслали из СССР. Он же просил политического убежища, молил о милосердии, пытался даже начать голодовку, но всё было напрасно, потому что Маури тогда еще не имел для советских властей ни малейшей ценности. Он был интернирован и забыт. Но сам Маури с этим никак смириться не мог! Желая угодить Советам, чтобы, наконец, сойтись с любимой, Маури согласился на политическое шоу, а КГБ, в конце концов, даже оплатило трогательный фильм о нем на Пятом авеню. Правда, в фильме ни слова не было сказано о том, что Маури бывал раньше в СССР и что его протест вызван личной трагедией, а не политикой, до которой ему не было никакого дела. Журналист, «открывший» его, сам был изумлен истинной историей жизни этого американского «лишенца», но он и остался его единственным другом, а та русская красавица, из-за любви к которой Маури согласился «поработать на КГБ», умерла в самом конце девяностых годов, сильно располнев и почти превратившись в провинциальную нищенку. До самой старости жизнь журналиста и его «героя» скрашивали редкие, теплые телефонные переговоры между Москвой и Нью-Йорком. Здесь уже не было ни малейшей политики, и не было демонстративного поиска свидетелей их теперь уже искреннего дружеского чувства. Оба были одинокими, забытыми миром, людьми.

Советский же потребитель подобной истории, а она, как и история доктора Хайдера, развернулась в 1986-м году, делился на две неравные категории – доверчивых, трогательных человечков, которые и сами «обманываться рады», и на тех, кто не верил ни в черта, ни в Бога, и сочинял забавные стишки и песенки на идейные темы.

Советская журналистика за границей, на излете той «холодной войны», как и иностранная в СССР, существовала по принципам террористических групп, преследуя вполне прагматичные цели: нанести врагу урон в наибольших масштабах, разрушая и задымляя всё национальное и общее пространство. На всех «боевых позициях», с обеих сторон, присутствовали свои «дэвисы», «хайдеры» и «маури». Однако же то, что приходилось чаще всего «притягивать за уши» на американской территории, то само шло в руки в Советах – здесь надо было только уметь выбрать между плохим и очень плохим.

Поэтому-то Саранский в те годы, а наша история как раз и случилась в этот же период, не стеснялся в методах, а также и в подборе слов в своих публикациях. Он намерен был сделать журналистскую карьеру, и настойчиво искал своих «героев». Однако же «фронттовую черту» он определил ошибочно – Соединенные Штаты и Австрия отличались друг от друга не столько образом жизни и иными естественными параметрами (хотя и принадлежали к одному миру), сколько отношением к ним в политической верхушке СССР и, главное, в КГБ. Что было позволено Юпитеру, то, как известно, строго настрого возбранялось быку. Это в равной мере касалось как объекта «исследования», так и самого «исследователя».

Труды Саранского, наконец, были замечены всеми сторонами и по достоинству оценены.

Андрея Евгеньевича вызвали «на ковер» к послу и тот, багровея, потребовал немедленно прекратить «вакханалию», иначе будет настаивать на отзыве Саранского.

– Ваша деятельность несовместима со статусом дипломатического работника, Андрей Евгеньевич, – горячился посол, – Нельзя же так грубо! Мне уже жалуются местные... м-м... товарищи из компартии. А к ним приходят разные насмешники из официальных орга-

нов и показывают переводы ваших, с позволения сказать, очерков и репортажей. Где вы тут видели голод и мор среди детей? С какого это завода одновременно уволили девять тысяч революционно настроенных рабочих, оставив у станков всего лишь тысячу привезенных из «забитой, неграмотной Турции» штрейкбрехеров-гастербайтеров?! Кого это из «пролетариев» потравили заведомо недоброкачественной пищей? Вы же прекрасно знаете, что никого тут не увольняли, что просто рабочие места разобрали по трем новым предприятиям, выделившимся из разукрупненного металлургического концерна, да еще добавили к ним полторы тысячи, а не тысячу штрейкбрехеров (!), иностранных рабочих, турок и югослав. Но если для вас тут всё настолько плохо, так поезжайте же домой! Спасайтесь! У вас же у самого двое детей! Нельзя же так грубо, батенька! Честное слово, лучше, так сказать, с умным потерять... Мда!

Андрей Евгеньевич густо покраснел, прямо таки до слез, и искренне поклялся прекратить всё это немедленно.

Он отправил еще одну, последнюю, статью, в которой уверял, что «местные капиталисты после серии острых публикаций» в газете «Индустриальная жизнь Советского Урала» одумались и заметно смягчились к своим рабочим, к их детям, женам и к близким родственникам. Зажглись якобы пролетарской солидарностью и прозревшие «горячие сердца» гастербайтеров из Малой Азии и Юго-Восточной Европы, которых к той тысяче довилось еще пятьсот. Теперь, мол, всё пойдет иначе, безработица начнет падать, а полезная занятость расти. Такова, по всему видно, сила социалистического слова, таково мощное советское влияние, таков наш светлый человек, который не может пройти мимо несправедливости. Поэтому его самого, также, как и его разящего слова, всегда и везде с нетерпением ждут.

## Физики и лирики

Андрея Евгеньевича на полгода срочно отозвали в Москву. Он опять начал ездить в краткосрочные командировки по городам и весям, а после «добычи» в Тольятти, прямо на заводе, двух автомобилей «Лада» (тоже «выставочных образцов» – для двух влиятельных начальников важных департаментов министерства иностранных дел) опять получил назначение в длительную зарубежную командировку. На этот раз в Бонн. Он должен присутствовать там в трех лицах: первым секретарем советского посольства, пресс-атташе (по совместительству – за небольшую доплату) и корреспондентом одного крупнейшего информационного агентства по Германии.

Но кроме того досадного эпизода в Вене, связанного с серией «разоблачительных» антикапиталистических публикаций, за Саранским числилось еще кое-что неприятное. Возможно даже именно это и стало истинной причиной его срочного отзыва из Вены. Действующим лицом той тайной драмы был Вадим Алексеевич Постышев, венский корреспондент телеграфного агентства. Собственно, агентство не имело ни малейшего отношения к понятию «телеграф» в общедоступном смысле, так как оно само по себе представляло гигантский узел связи, в котором использовались все известные и неизвестные принципы передачи информации.

В нашем, казалось бы, логичном мире, в котором два измерения, время и пространство, формируют жизненный объем, то есть третье измерение, всё в действительности оказывается столь запутанным, столь многослойным, что поневоле усомнишься в здравомыслии тех убежденных материалистов, которые отрицают какие-либо невидимые и неподдающиеся объяснениям иные измерения. Именно в такой запутанный философский клубок и угодил Саранский.

Но к этому нельзя подходить прямо, а, напротив, следует идти осторожно, чтобы избежать поверхностного суждения как о самом Андрее Евгеньевиче, так и о времени и пространстве, в которых он был вынужден барахтаться.

Андрей Евгеньевич был человеком далеко не примитивным, и уж, конечно, не «солдафоном от пера», как его хотели представить некоторые ревнивые коллеги по журналистскому цеху.

Саранский искренне увлекался хорошей музыкой, был сентиментальным почитателем Моцарта, Баха, Бетховена, Вагнера, Штрауса (как младшего, так и старшего), и даже различал не только двух Иоганнов, то есть отца и сына, но знал и их не столь известного современника и однофамильца Рихарда Штрауса. Однако эти свои знания он умел использовать не только в возвышенных целях, но и совершенно прагматично. Судите сами.

Однажды на узком посольском приеме Андрей Евгеньевич необыкновенно удивил приезжего из Москвы сановного дипломата, рассуждая о несправедливости судьбы по отношению к однофамильцам: одних забывают в угоду другим. Всё началось с разговора о семье Дюма.

– Да кто ж нынче безошибочно различает отца с сыном! – сетовал образованный карьерный дипломат из центрального аппарата, – Один из них – авантюрного нрава, а второй, несомненно, философ. Авантюриста, иной раз, читать интереснее, а философа – все же куда полезнее!

Саранский авторитетно покачал головой и встрял неожиданно:

– Полностью с вами согласен. Еще печальнее дело обстоит в музыке. Да вот поглядите...

Он неожиданно точно, на одних «пум-пум» и «ля-ля», воссоздал штраусовский (известный «сыновний», венский) вальс. Потом, спустя несколько секунд, пользуясь теми же звуковыми возможностями горла, щек и губ, пропел «отцовский» вальс.

Вокруг небольшой группы мужчин, неожиданно увлекшихся духовным, а не политическим или рутинно-бытовым, разговором, собрались слушатели.

– Кто же нынче сможет различить этих двух людей! – печально говорил Саранский, – Да, они родня..., отец и сын, как известно. Оба прославились своими вальсами, легкими, про-

сто, я бы сказал, воздушными музыкальными произведениями, но они же были и противниками! Иоганн-сын стал композитором, дирижером вопреки желанию отца! Месть, так сказать, за невнимание к многодетной семье! В нашем же сознании их сочинения переплелись, перепутались, а ведь вы только что слышали, товарищи, как я..., в меру своих скромных способностей, изобразил, так сказать, на губах произведения двух разных людей, а не одного, понимаешь, Иоганна. Два было Иоганна! Два!

В доказательство этакой несправедливости Саранский поднял над головой пальцы в форме латинского «V», каким обычно фанаты «тяжелого металла» демонстрируют свое «стальное» превосходство над классическим музыкальным миром. Но Саранский, конечно же, имел в виду совсем иное.

Сановный дипломат с уважением оглядел худенькую фигурку пресс-атташе Саранского и подумал, что несправедливостей много не только в мире музыкальных и эпистолярных искусств и жанров, но и в их, дипломатическом пространстве: вот ведь какая умница, какая легкость выражения, какое обаяние, а всего лишь пресс-атташе! Вряд ли теперь уже что-нибудь изменится! Вряд ли подрастет этот человек. Не дадут завистники, посредственности!

Андрей Евгеньевич, краем глаза отметивший приятное для себя смущение московского гостя, немедленно продолжил:

– Ну, это еще, как говорится, полбеды! Тут папаше с сыном самим бы было вовремя разобраться..., это, так сказать, на их совести! А вот как быть с однофамильцем Штраусов – с Рихардом. Талантливейшая была личность! Помер, между прочим, ровно через сто лет после старшего Иоганна. Но и с сыном-Штраусом одновременно пожил, потворил..., так сказать! Вот, послушайте, товарищи...

Андрей Евгеньевич откашлялся, словно тенор перед оперной партией, отставил назад правую ногу, задрал кверху голову и по-соловьиному, громко закурлыкал нечто очень и очень знакомое. Толпа вокруг московского дипломата и местного пресс-атташе распухла.

Саранский остановился, вновь покашлял для порядка, вроде бы, как от смущения, и вдруг захихикал:

– Что? Знакомо? То-то же!

Все заулыбались, потому что уже давно увлеченно смотрели единственное в то время игровое шоу по советскому телевидению (а те, кто был постоянно за границей и не имел возможности видеть его, переживал по сему поводу) под названием «Что? Где? Когда?», и конечно же узнали начальные сигналы передачи.

– «Так сказал Заратустра!» – поднял на этот раз лишь один, указательный, палец кверху Саранский и оглядел всех победоносно. Так уж получалось, что он по причине своего малого роста делал это снизу вверх, но все же почему-то выходило, что сверху вниз, – Симфоническая, между прочим, поэма Рихарда Штрауса! Представляете, товарищи? А что сказать о его совместной работе со Стефаном Цвейгом над оперой «Молчаливая женщина»! А над «Саломеей», «Дон Жуаном»! Да, да! «Дон Жуаном»! Не только Моцарт, понимаешь! И другие могли! А «Тиль Уленшпигель»!

– Мда! – покачал головой сановный дипломат, и тут же вставил:

– Да ведь я ничего не имел в виду, когда вспомнил о Дюма! Вы совершенно напрасно так разволновались! Только ваш этот Рихард..., Штраус этот, очень был любим... самим Гитлером, и Геббельсом, и Герингом... Он ведь был ими назначен президентом нацистской имперской музыкальной академии. Простительно одно лишь..., что, говорят, покрывал евреев! Того же Цвейга, да и в родне у него были свои евреи..., невестка, что ли? Кроме всего прочего, он ведь не австрийцем был, этот Рихард Штраус. Мюнхенец, баварец, называвший свой родной край..., постойте..., дайте-ка припомнить, ах да! «Безотрадным пивным болотом»! Вот как! А разве ж вы об этом ничего не знали? Его-то уж, несмотря на совпадение в фамилиях ни с кем

не перепутаешь! Но слух у вас отменный! Надо признать! Да я и не уловил сначала совпадения в звуках телевизионной передачи и его «Заратустры»! А вы молодец! Определенно молодец!

Андрей Евгеньевич густо покраснел, вежливо, без подобострастия, поклонился и, благодарно блестя глазами, демонстративно скромно отошел в сторону. Всё это он умел делать очень тонко.

Никто, кроме него самого и супруги Ларисы Алексеевны, не знал, как долго просидел накануне Андрей Евгеньевич над музыкальными справочниками, изучая историю фамилии (не семьи, а именно – фамилии) Штраусов. Он долго репетировал на память несколько фрагментов из произведений всех трех композиторов, доводя свои щеки и губы до боли. Андрей Евгеньевич только думал, как зацепиться за эту тему и выгодно продемонстрировать свою музыкальную культуру перед важным московским гостем. А тот сам подставился – заговорил про Дюма, отца и сына.

– ...и святого духа, – как про себя потом заметил Саранский, – Жаль только, что я не дочитал про гитлеровские пристрастия, заснул, понимаешь, а то бы и тут не сплеховал. Да уж ладно! Всё получилось совсем неплохо!

Он слышал от старого приятеля, что у того сановного дипломата дочь училась в фортепьянном классе Московской консерватории и великолепно исполняла на малых пока еще сценах всех трех Штраусов. Этим страшно гордился отец и даже получил незлобивое прозвище в МИДе – «Штраус-самый старший».

Спасало Саранского тогда то, что Господь действительно наградил его абсолютным слухом, хотя и лишил голоса и творческой требовательности к своим способностям. Его амбиции распространялись совершенно на иное. Семь нот – было слишком узким полем для успеха. Слов в человеческой природе было куда больше!

Так что, Андрей Евгеньевич не был обычным карьеристом, в общепринятом, ведомственном понимании. Он относился к своему делу вдумчиво, и мог прибегнуть к примитивным формам, как, например, в случае с «Индустриальной жизнью Советского Урала» и австрийскими «акулами капитализма» лишь тогда, когда этого требовал потребитель, а именно – далекий, и в то же время, по его убеждению, «недалекий» советский газетный читатель. Да еще, и московское начальство. Оно, кстати сказать, в первую очередь требовало, как и в первую же очередь от этого отказывалось.

Таким образом, дальнейшее поведение Саранского и тот случай, который самым роковым образом вновь свел между собой Андрея Евгеньевича и Вадима Алексеевича Постышева, венского «телеграфного» корреспондента, не покажется теперь случайным. Тут как раз с самого начала всё было совершенно естественно, то есть, как уже упоминалось, время и пространство сформировали объем, ...но вдруг абсолютно метафизически к этим трем известным измерениям прибавилось четвертое, работавшее во встречном направлении ко времени. И всё повернуло вспять!

Физики – это те же философы, но уделявшие в свое время математике больше времени, чем литературе. Они, конечно, со всей скрупулезностью сумели бы рассчитать вероятность появления на одной из узких, окраинных улочках Кёльна физического тела, принадлежащего невозвращенцу Постышеву, включению как раз в тот момент, когда он стоял на пешеходном переходе, зеленого сигнала светофора, и торможению перед ним автомобиля Саранского. Наверное, можно было бы всё это понимать и как измерения вектора направления автомобиля Саранского и силы удара, с которым нанес бампер по лодыжке Постышева, и, главное, то, что это была именно его лодыжка, а не какого-нибудь Ганса, Фрица, Юргена, Макса...

Однако же одних лишь талантов физика здесь было бы недостаточно, именно потому, что физики больше верят математике, чем литературе. А ведь именно литература приводила немало убедительных примеров того, как случайность, совершенно неподдающаяся точному

расчету, переворачивала всё с ног на голову и изменяла течение вещей до их зеркальной противоположности.

## Вред и польза привычек

Итак, следует вернуться к самому началу этой истории, когда Саранские в своей машине приехали из Бонна для покупки продуктов в одном из дешевых кёльнских торговых гигантах. Дорога была короткой, а цены низкие, поэтому в четверг, во второй половине дня все посольские работники, независимо от своего статуса, выезжали из столицы Западной Германии – Бонна, небольшого прагматичного города, в крупный, шумный, веселый Кёльн. Здесь следует ненадолго остановиться, чтобы обратить внимание на одну особенность, которая могла бы стать для физика или, скорее, для математика-теоретика определяющим параметром в точном вычислении закономерности встречи двух прежде знакомых русских людей на окраине чужого города, недалеко от старой ратуши.

Этой особенностью была привычка советских заграничных работников ездить в Кёльн именно в четверг, а не в пятницу, как это делали местные (советские их называли чуть презрительно, немного насмешливо – «туземцами»). Расчет был прост – немцы, готовясь к продолжительным выходным и будучи терпеливыми людьми в пятницу непременно соберутся дисциплинированной толпой около прилавков с мясом, колбасами, сырами и пивом. В четверг же они этого делать ни за что не станут, так как нет в этот день еще такого официального знаменья, как «конец недели». Иными словами, «рефлекторный звонок» не прозвенел, лампочка не вспыхнула и слюна не выделилась. Всё по-павловски. В то же время – по-павловски и реакция советских покупателей в Западной Германии, временных жителей Бонна: поскольку немцы в четверг не получили условного сигнала к массовой закупке продуктов на выходные, то есть импульс не поступил в их сознание, то это само по себе провоцировало предваряющий импульс, поражающий сознание советских заграничных работников. Причем, если для местных немцев сигнал, поступающий в сознание советских, ничего не означал и не вызывал никаких реакций, то для местных советских ожидаемый «сигнал для немцев» провоцировал соответствующий «сигнал» для них самих в четверг. И очередей нет, и цены прежние, как всю неделю, без каких-либо «праздничных» и «воскресных» колебаний, и отдыхать «культурно» можно начинать уже в четверг вечером. То есть выходные продлеваются. Вот такая сложная таблица прямых и обратных рефлексов.

В определенном смысле это вполне могло бы стать сложным параметром в вычислении вероятности встречи на узком перекрестке бампера автомобиля Саранского и лодыжки ноги Постышева. Ну, кто бы мог подумать, что все эти тонкости так значительны!

Другим параметром должна была бы стать причина, по которой Постышев оказался именно на этом перекрестке, именно в эту минуту, и в эту секунду, то есть то, как он оказался в той плоскости и в том временном отрезке, создавшем объем их встречи.

Для этого следует вновь уйти далеко назад, оставив автомобиль и ноги медленно разогнаться навстречу друг другу. Иначе многое останется недосказанным, а значит – искаженным.

## Венская партия

Первое упоминание нами имени Постышева было связано с тем, что именно он стал участником какой-то венской драмы, повлиявшей на отъезд Андрея Евгеньевича из Австрии в Москву на полгода. Он – а не «индустриально-уральский скандал»!

Всё дело было в том, что некоторые сотрудники советской миссии, облеченные особой привилегией подозревать всякого встречного поперечного во всех мыслимых и немыслимых грехах, как раз Вадима Алексеевича и заподозрили в шпионаже в пользу врага.

Уже потом, много позже, Саранский искренне удивлялся этому, потому что никак не мог понять, какой был смысл в вербовке врагом советского зарубежного корреспондента. Тот видел и знал даже куда меньше, чем видел и знал любой местный житель, а о своей родине, на которой он бывал не дольше двух отпускных недель в году, ему вообще ничего, кроме информации в газетах «Правда» и «Известия» с опозданием ровно на день, известно не было.

Однако же некий полковник Георгий Игнатьевич Полевой, возглавлявший секретную службу в советской дипломатической миссии, собрав своих лучших людей, заявил:

– По имеющимся оперативным данным, которые заслуживают доверия, журналист Постышев был подвергнут вербовочной операции со стороны противника, а точнее, американцев, и . . . дал слабину.

Все испуганно переглянулись, а полковник, высокий, седой, кряжистый мужик, победно оглядел своих сотрудников. Его взгляд красноречивей, чем любые слова, говорил о том, что всякий, кто «даст слабину» немедленно станет известен ему, как «давший» эту самую «слабину».

На том совещании присутствовал и Саранский. Он не являлся в прямом смысле сотрудником службы полковника Полевого, но по некоторым делам они вынуждены были общаться. Полевой не очень доверял тем, кто увлекался классической музыкой, ездил в оперу на концерты, и даже посещал выставки немецких модернистов и французских импрессионистов. Но обстоятельства, связанные с делом Постышева, вынуждали полковника, крепя сердце, пригласить на совещание и Саранского.

Дело в том, что именно сообщение Саранского о том, что на одном из организованных концертов в кафедральном соборе и на выставке французских импрессионистов им был замечен Вадим Алексеевич с молодой женой в сопровождении мистера Вольфганга Ротенберга, известного в советских контрразведывательных службах как один из самых результативных вербовщиков Центрального Разведывательного Управления в Западной Европе.

Андрей Саранский и был тем самым источником «оперативных данных, заслуживающим доверия» Полевого.

Андрей Евгеньевич поначалу не придавал своему сообщению серьезного значения, по той причине, о которой уже говорилось (ведь не пациенты же сумасшедшего дома главные вербовщики ЦРУ!), да и потому, что вряд ли вербовщик и объект вербовки будут демонстрировать свои связи так открыто. К тому же, ему было известно, что малолетние дети Постышевых и Ротенбергов (тоже, как и сам Саранский, официально аккредитованного в качестве репортера американского информационного агентства) ходили в один и тот же клуб «маленьких художников», и жены на этой трогательной почве подружились. Эта дружба не имела совершенно никакого отношения ни к репортерской работе Постышева, ни к шпионскому ремеслу Ротенберга. Бывает же такое – между собой дружат врач и больной, причем, врач этого больного в своих пациентах не числит, а больного пользуется другой эскулап.

Но для порядка, просто, как говорится, для галочки, на безрыбье, так сказать, Саранский «сигнализировал» Полевому. Тот тут же ухватился за это и начал постепенно «окружать» Постышева. Он составил и утвердил аж в самой Москве план «профилактических и опера-

тивных» мероприятий, направленных на спасение бессмертной советской души Постышева. Но тот, судя по его независимому поведению, уже переступил дозволенную границу и теперь углубился далеко в чужую чашу. Оперативная разработка разбухла до таких размеров, что должна была принести либо победу и награды ее автору, либо – провал и позор в глазах подчиненных, а также раздражение московского начальства. Тут почти в буквальном смысле – «пан или пропал»!

Сам Полевой при первом же прикосновении к делу Постышева понял, что ничего важного и тайного за «концертными и выставочными» встречами русского и американца немецкого происхождения (если судить по фамилии) не стояло. Но это ситуацию лишь обостряло и потому спуску не было ни тому, ни другому. А заварившим этот скандал Георгий Полевой с бычьим упрямством, и не без основания, считал «этого мозгляка» Саранского! Потому и настоял на его привлечении к операции и пригласил к себе на совещание, с которого должна была начаться финальная стадия разработки – то есть захват Постышева, разоблачение, арест и высылка под конвоем на Родину.

Андрей Евгеньевич всего этого в подробностях не знал, но был верным человеком системы, как принято выражаться до сих пор, и правила игры не только принимал всем сердцем, но и следовал им во всем, даже в мелочах. Иначе бы не удержался, не сумел бы стать полезным ни себе, ни начальству, ни родине... Если всё это, конечно, совпадет в целях.

Он понимал, что его избрали «подельником» полковника Полевого, как говаривалось в классово близкой уголовной среде. О классовой близости двух «сред» говорил не он, а сами чекистские власти еще в самом начале своего триумфального шествия по разбитой дороге русской истории. Андрей Евгеньевич рассудил так: лучше быть «подельником» Полевого в Западной Европе, чем Постышева на родине. Об этом же предупреждала и старая веселая энкаведешная пословица, когда в ней упоминалась тонкая разница между родственными понятиями «стучать» и «перестукиваться».

«О великий, могучий, правдивый и свободный русский язык!» Тургенев был прав, пожалуй! Саранский в этом убеждался постоянно – все же, он был по образованию журналистом, хоть и не смел поставить это в первый ряд своих обязательств перед державой.

– Вот что, товарищи! – закончил свой лаконичный доклад полковник Полевой, – Будем приступать к завершению, так сказать, нашей оперативной разработки, то есть позволим фигуранту Постышеву проявить свою преступную сущность, после чего изыдем его из наших рядов, переправим вместе с семьей, второй по счету, между прочим, в СССР, и рекомендуем предать справедливому народному суду. Предателям и шпионам нет места среди нас!

Он победным взором окинул всех присутствующих, и отметил про себя, что никто не только не отвел глаз, но даже напротив – все, как один, преданно и ясно, буквально с утренней свежестью и чистотой (разговор ранним утром и происходил в здании миссии) прилипли к нему своими взглядами. На мгновение вспыхнули тревогой только глаза Саранского, который явно не ожидал такого разворота от своего старого, казалось бы, ни к чему не обязывающего сообщения о встречах Постышева и Ротенберга. Но опытный Андрей Евгеньевич мгновенно овладел собой и преданно уставился на Полевого. Но тому было достаточно, как истинному контрразведчику, и того мгновенного срыва. Он сразу подумал, что следующим звеном в разработке следует назначить самого Саранского. Тогда получится сложная, запутанная комбинация, которая позволит выявить многоярусную игру противника: сначала подкинули советской контрразведке малоценное звено в лице Постышева, а затем попытались проникнуть вглубь «наших национальных территорий» посредством хорошо подготовленного «крота», который и сдал своего дешевого агента для собственного, еще более надежного, внедрения в советскую разведывательную среду. То есть теперь речь шла о принятии Полевым оперативной жертвы противника, а именно – никчемного (это следует признать теперь с особым удовольствием и снять с себя за это всякую ответственность!) Постышева.

Такой поворот был неожиданным для всех, включая самого Полевого. Но он сулил столь высокие дивиденды, что отказаться от него у полковника уже не было никаких сил. Вот, что значит внимание, что значит школа! Один лишь взгляд, одна лишь вспышка! И не важно, что Саранский давно служит в общей с Полевым системе! Это всё ценные детали, которые лишь укрупняют и усложняют значение новой, грядущей разработки.

Полевой решил окончательно «переиграть» противника, войдя с ним в близкий, одуряющий все стороны, контакт. Поэтому он и принял следующее решение: оставить после совещания Саранского и поручить ему главную скрипку в изобличении его же жертвенного агента. В том, что всё это раскрытая им вражеская комбинация Полевой уже никак не мог сомневаться, иначе рухнет вся эта шаткая, новая конструкция.

– Вот так! – решительно заключил Полевой, отведя глаза от Саранского, – Оперативным группам внимать особенно пристально, фиксировать все передвижения фигуранта Постышева и членов его семьи, не спускать глаз с Ротенберга.

## Дебют

Саранский ощутил опасность, которая подобралась к нему очень и очень близко. Как это он почувствовал сказать было невозможно, потому что работа человеческого мозга до сих пор остается одним из самых неизученных явлений мирового космоса, и никто не знает, откуда и по каким тайным каналам поступает к нам сигнал об опасности или, напротив, о возможности триумфально подняться над остальными особями. В этом, должно быть, суть репродуктивной политики природы биологических существ, гарантия их сохранения в своих самых сильных, самых жизнестойких формах. Андрей Евгеньевич внутренне собрался. Он с досадой на самого себя заметил, что на доли секунды стрельнул в Полевого тревожным взглядом. Теперь он быстро просчитывал в уме ситуацию. Саранский всегда умел ставить себя на место противника, а Полевой, конечно же, был противником, как и всякий, кто находился рядом с ним в узком конкурентном поле зарубежья. Все же Андрей Евгеньевич не зря увлекался сложной музыкой, в ее не всем понятным классических формах. Она всегда напоминала ему шахматную партию, которая, в свою очередь, по его убеждению, была одним из математических выражений музыкального ряда. В шахматы он вообще-то играл плохо, но всегда остро чувствовал драматичность дебютов. Как будет разворачиваться партия в дальнейшем он никогда не знал, но ее начало, ее первые ходы были особенно важны для него и особенно чувствительны. Саранский был одарен остротой ощущений, хотя сам и не мог быть противником опытного гроссмейстера, наверное, потому, что у него самого не хватало терпения и не было точности в предвидении. Он был сомневающимся и колеблющимся игроком. Однако же всё это было так близко к классическому музыкальному розыгрышу, что доставляло ему, человеку с совершенным, хоть и с непродуктивным музыкальным слухом, ни с чем не сравнимое наслаждение с первых же аккордов. Да еще в этом, профессиональном, случае – заостренное страхом!

Поэтому конечные для всех слова Полевого о том, что «товарищ Саранский останется на пару минут», им были восприняты так же, как явление шахматного дебюта. Партия начиналась! Но он с замиранием сердца понимал, что не сможет вынести достойно и терпеливо весь ее ход. Сердце сладко и со страхом замирало.

– Вам, Андрей Евгеньевич, как истинному инициатору разработки, отводится основная роль! – уклоняясь от всякого возражения, решительно заявил полковник Полевой прямо в глаза Саранскому, когда они остались вдвоем.

– Что? Не понял вас..., как еще роль?! Вы о чем, собственно? – начал разыгрывать свой дебют Андрей Евгеньевич.

– Я говорю, товарищ Саранский, – еще более решительно и теперь уже даже несколько мрачно, супя брови, настаивал Полевой, – Не далее, как завтра, вам придется встретиться с Постышевым и сообщить ему в доверительной форме, что он изобличен и что вот-вот за ним захлопнется мышеловка.

– Зачем! – теперь уже искренне, с внутренним ощущением того, что его собственный дебют трещит по швам, захлопал глазами Саранский. Краска покрыла его щеки, лоб, оставив бледным и холодным лишь нос.

– А затем, что Постышев будет вынужден активизироваться и призвать на помощь все свои внутренние ресурсы. Мы это зафиксируем и тут же его захватим, вместе с семьей.

– А со мной как? – струсил Саранский, совершенно забыв на какое-то время про свой «дебют».

– А с вами так: вы останетесь на своем месте и войдете в оперативный контакт с Ротенбергом ...после изъятия фигуранта Постышева. Пусть он теперь рассчитывает только на вас, как на новый разведывательный источник. Мы его разработаем, так сказать, в близком бою. Деваться то ему уже некуда будет!

Саранский с облегчением вздохнул – он еще не утерять нюх; он сразу раскурил ходы Полевого, а значит дебют не провален. До чего же всё примитивно! Он, что же, принимает Саранского за круглого идиота!

– Отличная идея, Георгий Игнатьевич! – как можно искреннее воскликнул Андрей Евгеньевич, – Гениально!

Он благодарно, прочувственно блеснул влажными глазами, немало удивив этим Полевого.

«Неужели он действительно такой идиот? – почти с удовольствием, в унисон мыслям Саранского, подумал полковник, – Ну, тогда туда ему и дорога! Надо бы уже сегодня прицепить к нему группу наблюдения. Если и «срисует» ее, то подумает, что это входит в наш с ним общий план. А потом результаты наблюдения можно будет использовать так, как заблагорассудится! Пожалуй, скажу ему о группе. Это всем облегчить задачу».

– Мда! – глубокомысленно изрек Полевой, – Спасибо за оценку моих скромных способностей! Кстати, для вашей же безопасности приставлю к вам оперативное наблюдение. Так что, вы не смущайтесь, пожалуйста!

«Еще бы, – решил Саранский, – беспроигрышный ход. Результаты наблюдения лягут в основу новой разработки, а то, что он ее начинает, теперь уже никаких сомнений, а это значит, что, если она выгорит в его пользу, то я пропал, а если нет, то мы оба молодцы – всё предусмотрели!»

– Пожалуйста, Георгий Игнатьевич! Я ведь сам хотел вас об этом просить, – Андрей Евгеньевич сначала даже испугался, что переигрывает, но, искоса, со скрытой тревогой посмотрев на полковника, понял, что тот уже слишком убежден в своей проницательности, чтобы заметить что-либо тревожное за противником.

Так и расстались в убеждении, что партия почти состоялась – Полевой в самоуверенном удовольствии от этой мысли, а Саранский – в заботах о предстоящем развитии удачно начатого дебюта.

## Кёльнская «катастрофа»

...Бампер автомобиля мягко толкнул препятствие в виде лодыжки пешехода. Это случилось по вине и водителя, и пешехода: они оба засмотрелись друг на друга, разинув от изумления рты, и забыли, что одному следует притормозить, а другому увернуться.

Бурлящая возмущением толпа собралась на почти безлюдном перекрестке даже быстрее, чем переполошенный, густо покрасневший Андрей Евгеньевич выскочил из-за руля своего автомобиля. Его супруга сидела ни жива, ни мертва, прижимая к груди только что купленную в магазине голландскую бело-синюю, как русский гжель, вазочку.

Андрей Евгеньевич всегда поражался, откуда на безлюдных западноевропейских улочках вдруг в одночасье образовывается активное, шумное, решительное гражданское общество. До этого его не было ни видно, ни слышно, как и дорожной полиции. Но стоило лишь возникнуть даже незначительному поводу, как оно нарождалось наподобие снежного кома, катящегося с горы, и заполняло собой всё цивилизованное пространство. Возглавляла его в подобном случае как раз та самая невидимая до этого полиция в лице строгого, непоколебимого в своем стремлении к корректности и справедливости стражи западноевропейского порядка. Надо заметить, что после исчерпывания события, это общество и полиция таяли даже быстрее, чем тот же ком, причем не оставляли за собой и лужицы. Удивительная, раздражающая стерильность!

Однако до исчерпывания дорожной ситуации еще было слишком далеко: перед капотом автомобиля Саранского с советскими дипломатическими номерами растерянно сидел на задку Вадим Постышев и тер руками ушибленную левую лодыжку.

– Товарищи! – с отчаянием возопил Андрей Евгеньевич, выскочив из машины и кинувшись к Постышеву, – То есть господа! Не беспокойтесь! Мы – свои! Мы русские! Всего-навсего русский сбил русского! Даже только толкнул! Слегка! Это наше внутреннее дело! Мы – советские! Дружба! Германия – СССР! Дружба!

Он зачем-то поднял над головой сцепленные в замок руки. Толпа отшатнулась так, будто сейчас этим самым замком он обрушится на голову ближайшего немца или даже несчастной жертвы аварии. Откуда-то взявшийся полицейский мотоциклист в крагах, в каске решительно раздвинул широкими плечами притихшую общественность и загородил собой сидящего на асфальте Постышева.

За машиной Саранских немедленно образовалась спокойная, терпеливая пробка. Один из водителей в конце ее, серьезный, вдумчивый мужчина с плотно сжатыми в розовую полоску губами, вышел из своего тщательно промытого, небесно голубого «Фольксвагена», неспешно открыл совершенно пустой, чистый, как хирургический стол, багажник, извлек оттуда яркий и праздничный, словно ёлочная игрушка, знак аварийной остановки, точно отсчитал шагами десять метров за своей машиной и аккуратно поставил знак на дорогу. Уже перед знаком стали дисциплинировано тормозить и немедленно гасить двигатели водители следующих машин. Каждый на этой улице, в этом городе, в этой стране, а, возможно, в этой части континента знал, что делать и какое место занимать в возникшей нестандартной ситуации. Ничто не могло заставить этих людей врасплох! Даже случайные «внутренний» конфликт между непонятными русскими.

Не обращая ни малейшего внимания на полицейского, расставившего свои ноги в высоких, мягких сапогах над телом Постышева, Саранский присел рядом с пострадавшим и испуганно-предупредительно заглянул ему в лицо.

– Ты чего тут? – скорее с интересом, чем с беспокойством спросил Андрей Евгеньевич.

– А ты! Мать твою, водитель хренов! – нагрубил Постышев морщась и потирая рукой ушибленную оголенную из-под разорванной брючины лодыжку.

Саранский, словно строгая дуэнья, ревниво отдернул вниз лоскут брючины и, не обращая внимание на стон в ответ на это Постышева, возмущенно взглянул на замершую вокруг толпу. Будто это они, а не он, причинили его соотечественнику физическую боль.

– Ну, чего уставились! – сказал он нервно по-русски, но потом вежливей добавил по-немецки, – Расходитесь, пожалуйста! Дайте воздуха!

– Ваши документы! – прозвучало прямо над головой присевшего Саранского.

Он медленно поднял глаза, будто ощупывал ногу полицейского от носка сапога до плотного, узкого гульфика его брюк, потом прополз взглядом выше и разглядел круглую ремennую пряжку, тяжелую кобуру с торчащей ручкой револьвера, ровный ряд пуговиц на груди рубашки до самого выбритого подбородка, расплющенные строгостью и осознанием собственной важностью губы, две черные, полные ноздри и длинные ресницы опущенных в его сторону век.

– Документы? – переспросил Саранский и привычно сунул руку в нагрудный карман, но вдруг остановился, опустил глаза на уровень лица Постышева и спросил его по-русски, тихо, – У тебя, Постышев, есть ко мне претензии?

– По этому поводу нет! – двусмысленно ответил Постышев.

Саранский кивнул, резко поднялся и глядя прямо в глаза высокому полицейскому, по-прежнему снизу вверх, словно и не поднимался на ноги, сказал:

– У этого господина нет никаких претензий.

Полицейский с удивлением уставился на Постышева.

– Это правда? – спросил он.

– Правда, – ответил Постышев и зло взглянул на Саранского.

Полицейский оглядел толпу и сказал громко:

– Дамы и господа! У этого господина нет никаких претензий к водителю автомобиля Это все слышали?

Дамы и господа согласно кивнули.

– Я попрошу вас и вас, – он указал пальцами на ближайших к нему женщину и мужчину, обоих совершенно неопределенного возраста, – Заявить мне о том, что слышали это и оставить свои фамилии и адреса.

Оба скороговоркой произнесли нечто вроде клятвы о том, что готовы подтвердить где угодно и перед кем угодно, что сидящий на асфальте человек вполне доволен жизнью и никаких претензий ни к водителю, ни к полицейскому да и ни к кому вокруг не имеет. После этого они ясно назвали свои имена и адреса. Полицейский, не спеша, щуря глаза и вытянув из-за губ кончик языка, записал все это в небольшой, компактный блокнот. Потом он слегка нагнулся над Постышевым и спросил всё также спокойно и веско:

– Вам нужен врач?

– Ему не нужен врач! – выкрикнул Саранский, – мы русские. У нас в посольстве есть свой врач! В Бонне. Это рядом...

– Я в посольство не поеду! – обиженно надул губы Постышев, – Только этого мне еще не хватало!

– Это я для него, Вадик! – примирительно зашипел Саранский, – Мы тебя сейчас тут к одному частнику доставим..., мигом, понимаешь! И пиво у него свое! Пальчики оближешь! Сволочь незабываемая!

– Чего же мы к нему поедem, если сволочь! – продолжал капризничать Постышев.

– Брось ты! Это я так, к слову! Они ведь тут все сволочи! А то ты не заметил?

– Я не слышал вашего ответа, господин пострадавший! – вмешался полицейский уже немного нервно, – Вам нужен врач или нет? И вообще, какая-нибудь помощь?

– Нет, – мрачно покачал головой Постышев и тяжело вздохнул.

– Этому господину не нужен врач и вообще он не нуждается ни в какой помощи, – спокойно и громко произнес полицейский, оглядывая недвижимую толпу, – Это все слышали?

Толпа согласно заурчала и закивала головами, словно это было одно большое серое драконовое тело с множеством дисциплинированных голов.

– Хорошо! – заключил полицейский, – Позвольте я отмечу все установленные факты в рапорте, а сошлюсь на эту даму и господина.

Он прямо, будто стволом оружия, в упор указал пальцем на уже записанных в его блокнот свидетелей.

– Если у кого-то все-таки возникнут претензии или появятся вопросы, прошу обращаться в местное полицейское управление и сослаться на сержанта Вили Штайнера, то есть на меня. Мой номер – 1756.

Вили Штайнер задумчиво посмотрел на Постышева и вдруг строго, будто видел в этом его вину, заявил:

– Но и вам, так или иначе, придется назвать себя. Так положено. Я же должен указать ваше имя в рапорте.

– А если я этого не хочу? – вдруг упрямо вскинул голову Постышев.

– Тогда я буду вынужден сопровождать вас в больницу или в полицейское управление..., – удивленно возразил Штайнер. Ему еще не приходилось сталкиваться с таким необъяснимым упрямством.

– Нет! Нет! – засуетился Саранский, – Я знаю этого человека. Его имя – Вадим Постышев..., он гражданин СССР, журналист... Не так ли?

Последний вопрос Андрей Евгеньевич обратил к Вадиму, причем сделал это как-то заговорицки, хитро подмигивая то одним, то другим глазом.

– И так, и не так, – двусмысленно ответил Постышев.

– Что это значит? – насторожился полицейский Штайнер.

– А то значит, что я действительно Вадим Постышев, но уже год как не являюсь гражданином СССР. Я – лицо без гражданства. Невозвращенец.

– Что? – не понял полицейский, – Куда вы не вернулись?

– В СССР. «Невозвращенец» – почти по складам сказал уже по-русски Вадим, – но не трудитесь записывать это, господин полицейский. У вас все равно нет такого понятия. Ваше право его пережило на сорок с небольшим лет. Когда-то, правда, и у вас бывали свои невозвращенцы... Опасно было возвращаться, господин полицейский... Напишите лучше – эмигрант. С вашей стороны это выглядит так.

– А с русской – не-воз-вра-ще-нец? – делая явные успехи в русском языке с любопытством спросил Штайнер. Это сложное для иностранца слово он произнес почти без акцента, лишь сгроссировав неудобную букву «эр».

– Вы способный человек! – покачал головой Постышев, – осталось еще понять, что это такое, и можно вполне заслуженно прослыть советологом!

Вили Штайнер густо покраснел, закивал головой и тут же записал имя и фамилию потерпевшего в свой блокнот, а потом еще и вывел два слова – «эмигрант» и «невозвращенец». При чем, второе слово – по-русски, в латинской транскрипции. Он любовался записью и вдруг строго взглянул, сверху вниз, на худенького, притихшего от всех этих разговоров Саранского.

– А ваше имя? Впрочем, от вас потребуются документы, – Штайнер сказал это так строго, так сурово, что Постышев заподозрил за ним не только способности к изучению славянских языков, но и умение понимать смысл того, что слышит и видит впервые.

Андрей Евгеньевич, похоже, тоже это понял именно так, потому что сразу, излишне быстро, даже суетливо, цепляясь за подкладку одежды, извлек из кармана зеленый дипломатический паспорт и водительскую лицензионную карточку.

Полицейский с удивлением повертел в руках паспорт.

– Это что?

– Дипломатический паспорт, – надул губы Саранский, – Разве не видите?

Штайнер не торопясь переписал имя и фамилию невысокого суетливого человека в свой блокнот, потом внимательно, неторопливо рассмотрел водительскую лицензию и на всякий случай спросил:

– А страховка у вас есть?

Саранский с раздражением, прерывисто вздохнул и достал из портмоне, которое всё это время держал в руках, полис. Но Штайнер только покосился на него и даже не стал брать в руки.

– А кто в машине? – упрямо продолжал он «давить» на Саранского, пригнувшись и всматриваясь через лобовой стекло в салон.

– Моя супруга! – с обидой в голосе воскликнул Саранский.

– Я ее знаю, господин полицейский, – подтвердил Постышев, – Мы виделись несколько раз в Вене.

Вили Штайнер вернул Саранскому паспорт и лицензию и, будто что-то вспоминая, обвел глазами толпу. Он сделал круг около сидящего на асфальте Постышева и почесал ручкой бритый затылок.

Постышев и Саранский не спускали с него напряженных глаз. Они вдруг вновь, как и прежде, до венских событий, соединивших и разъединивших их, почувствовали себя союзниками. Так бывало с людьми даже во время непримиримых гражданских войн, когда противники оказывались в руках у третьего, общего для них, врага, и вдруг чувствовали между собой близкое родство противоположных полюсов. Это удивительное, трогательное и теплое ощущение! В этот момент и понимаешь, что рожден с тем другим, кого готов был только что разорвать на куски, одной матерью и одним отцом. Если бы такие мгновения продолжались подольше, и оба полюса успевали бы привыкнуть к этому необыкновенно родственному чувству, то вернуться к вражде было бы уже для них противоестественно. Но третья сила, их общий враг, как правило, взяв свое, исчезает, и – вновь оскал на злобных лицах братьев.

Так вышло и на этот раз.

Полицейский лихо вскинул к козырьку каски два пальца правой руки – безымянный и указательный и, развернувшись на каблуках своих мягких сапог, исчез в толпе, за которой оставил свой мотоцикл. В тишине взревел мощный мотор и сизый, пахнувший почему-то парфюмом, дымок пробился между ног и тел стоявших людей к все еще сидящему на дороге Постышеву.

– Во запах! – восхищенно, но очень уж ни к месту заметил Саранский, – Это у них бензином называется! Хоть после бритья им душишь! У нас вонь, так вонь! Что у одеколона, что у бензина! Ядреное оружие, понимаешь! Разбаловались они тут, Вадик, я тебе доложу!

Толпа вокруг испарилась в это же мгновение с такой скоростью, словно ее выдуло ветром так же, как и дымок от полицейского мотоцикла. Саранский и Постышев заоглядывались вокруг себя и тут же почти испуганно усталились на длинный, молчаливый ряд машин. Андрей Евгеньевич быстро подставил Вадиму руку, пыхтя и покрываясь густой, напряженной краской, помог тому подняться, и оба, хромя и раскачиваясь из стороны в сторону, подползли к автомобилю Саранского.

Лариса Алексеевна, наконец, выскочила из машины, придерживая рукой голландскую вазочку, суетливо распахнула перед извивающимся от боли Постышевым заднюю дверь и помогла ему, стонущему и закатывающему к небу глаза, провалиться внутрь машины.

Оба, Андрей Евгеньевич и Лариса Алексеевна, торопливо вернулись на свои места, громко хлопнули дверцами, и тут же, как только включился зеленый свет светофора, машина сорвалась с места.

Автомобили, стоявшие за ними, медленно потянулись следом. Тот водитель, который выставлял знак аварийной остановки, теперь уже поспешая, свернул его, кинул в багажник и влился на своем голубом, веселеньком «Фольксвагене» в общий поток таких же, как и он сам, дисциплинированных и серьезных людей.

## К доктору!

Первое время ехали молча. Андрей Евгеньевич поднимал к зеркалу заднего вида тревожные глаза, а потом скашивал их на Ларису Алексеевну. Их косые взоры встречались под тупым углом где-то между ними, почти на идеальной прямой, и тут же разбегались в стороны.

Постышев кривился от боли, тяжело вздыхал и посматривал в глаза Саранскому в зеркало заднего вида с откровенной ненавистью. Саранский панически убегал глазами и, спустя несколько секунд, все же поднимал их на зеркальце с опаской, воровато, словно подглядывал за чей-то интимной жизнью.

Наконец, Саранский нарушил молчание очень неуместно:

– Рад тебя видеть, Вадим Алексеевич!

– Чего! – возмутился Постышев.

– Я имею в виду, – смутился Саранский, – Не было бы счастья, да несчастье помогло!

– Тоже мне счастье – тебя встретить! – ухмыльнулся Постышев и тут же поморщился от боли, – Где там твой коновал! Вези скорее, мочи нет!

– Так едем, едем! – засуетился Саранский и опять ляпнул неуместное:

– А вы с моей Ларисой Алексеевной почти, можно сказать, родня!

– Как это! – одновременно, в унисон сорвалось у Ларисы и у Вадима.

– Так ведь тезки по отцам! – прыснул Андрей Евгеньевич.

– А! – раздраженно протянул Вадим Алексеевич и отвернулся к окну.

– Скажешь тоже, Андрюша! – почему-то кокетливо, несмело, порозовев, произнесла Лариса Алексеевна. Она впервые за всё время поездки обернулась к Вадиму Алексеевичу и как-то очень понимающе и сочувствующе улыбнулась ему. Постышев вздрогнул и быстро закивал. Ему стало неудобно за свое пренебрежительное «А!».

Столь незначительный, беспомощный повод, однако же, возымел свое неожиданное действие, и напряжение вдруг спало, сдулось. Так бывает в природе – грозно наморщилось небо, потемнело всё кругом – вот-вот явит себя буря, разразится ураган, сорвется с небес всё сметающий водопад, но вдруг вместо всего этого, смертельно страшного, закапал невинный дождик, мелкий, нестрашный. И тяжелые, свинцовые тучи неожиданно расступились, мелькнуло чистое, светлое небо и страх смерти отступил надолго. Всего лишь дождик, а не ливень, всего лишь легкий ветерок, а не смерч. Небо сжалилось над землей и продлило ей жизнь.

Вскоре в одном из ближайших западных кельнских пригородов показался за невысокой каменной оградкой уютный домик под острой зеленой крышей. Он был почти игрушечным, будто сделанным по описанию сказочника. Не доставало только милых, славных человечков с островерхими, как крыша домика, шляпами, доброго мелкого песика с голубеньким бантиком на шее и серебряного колокольчика над резной дверью.

– Вот, Вадим! – с облегчением произнес Саранский, – Вот тут этот доктор-пивовар и живет.

– Это тот, который «сволочь незабываемая»? – вдруг добросердечно рассмеялся Постышев и тут же застонал от боли в ноге.

– Он самый! – испуганно ответил Саранский и остановил автомобиль капотом к низким деревянным воротам, окрашенным серой, безликой краской.

В белый столбик, на котором держались с одной стороны ворота, а с другой – калитка, была буквально влита зеркально-латуневая табличка: «Доктор медицины Арнольд Арнольд Арнольд».

– Их что трое? – сквозь боль рассмеялся Постышев, – Братья, что ли?

– Один! – довольный произведенным эффектом ответил Андрей Евгеньевич, – Зовут Арнольд, второе имя..., не то по отцу, не то по деду со стороны матери Арнольд, и фамилия у них – Арнольд. Вот и выходит – один человек: пивовар и доктор.

– Человек-пароход! – усмехнулся Постышев, – Товарищ Нетте!

– Кто? – удивился Саранский.

– Да так! Никто! Глупость сморозил! – опять простонал Вадим, – Господи, Андрюша, тащи меня скорее к своему человеку-пароходу, к этому коновалу-пивовару! Мочи ж нет никакой!

Саранский необыкновенно обрадовался панибратскому «Андрюше» и тут же, причитая что-то, выскочил из машины. Он сам распахнул ворота, быстро вернулся за руль и, чрезмерно, от волнения, выжав газ, въехал во двор. Передний бампер со звоном опрокинул тачку, противно хрустнула правая фара.

– Черт! – воскликнул Саранский, – Одна беда не ходит!

– Да черт с ней, с твоей фарой! – возопил от уже не унимающейся боли Вадим, – Скорей давай! Сдохну сейчас! Наверное, перелом у меня все-таки! Надо было в больницу!

Саранские выскочили из автомобиля, осторожно подхватили Постышева и бережно буквально поднесли его к невысокому крыльцу парадного с деревянной дверью и ромбовидным окошечком на уровне глаз. Рядом со ступеньками была аккуратно накатана на подъем к двери бетонная дорожка. Серебряный колокольчик на шнурочке здесь все же был – трогательный, сказочный, наивный. Сквозь растущую боль в ноге Постышев подумал словно в бреду, что сейчас к нему выскочат трое низкорослых Арнольдов в островерхих шляпах, с белыми ватными шкиперскими бородками и в очках в золоченой оправе.

– Видал, – потея от напряжения, проскрипел Саранский, – Даже тут порядок: дорожка для инвалидов-пациентов, для подъема продуктов в тележке и вообще... Еще бы тачки убирали со двора, сволочи! Цены бы им не было! Как я теперь эту фару оформлю? Всю плешь проедят в посольстве хозушники чертовы! Плати теперь свои!

Андрей Евгеньевич бросил через плечо взгляд в сторону своего автомобиля, но расколотой фары не разглядел и даже подумал, что она так, если на нее не смотреть, пожалуй и сама «вылечится». Вроде как и нет ничего! Но потом подумал, что такое само не лечится и неприятности все же будут. Всё это пронеслось в его голове галопирующим бредом и было прервано вдруг распахнувшейся дверью парадного. На пороге стояла средних лет сухая дама в белом переднике на аккуратном черном из глянцевого лаке халате и в белом же кокошнике. Она без слов подхватила подмышки Постышева, мягко выдавив в сторону плечом Ларису Алексеевну, и все разом оказались в довольно широкой прихожей, с небольшим лифтом с открытой, без дверей, кабиной. Около лифта. Словно в ожидании Постышева, стояло инвалидное кресло на крупных, тонких колесах.

– Сюда, господа! – решительно распорядилась дама и сама же осторожно усадила в кресло стонущего, побледневшего Постышева.

Дама обернулась к Саранскому и к Ларисе Алексеевне, смерила их изучающим взглядом и спросила высокомерно:

– Доктор Арнольд с вами договаривался о визите?

– Нет! – заболтал головой Андрей Евгеньевич, – Мы же не знали, что к нам под колеса попадет этот... этот товарищ..., герр то есть...

– А полиция! – подняла взволнованно кверху брови дама в кокошнике, – Герр... м-м-м...

– Саранский, герр Саранский! – услужливо, скороговоркой подсказал Андрей Евгеньевич, – Имею честь, советский дипломат..., журналист... Да вы же знаете, фрау Лямпе...

– Да, герр Саранский! – продолжала высокомерно фрау Лямпе, – Мы будем вынуждены сообщить в полицию о вашем визите. Это ведь вы сами и сбили на машине этого несчастного? Не так ли?

– Он сам..., сам под колеса полез! – неожиданно зло ответил ей Андрей Евгеньевич и метнул в Постышева ненавидящий взгляд, который и не собирался теперь смягчать.

Всё напряжение последних получасов вдруг взорвалось в этом взгляде, в охрипшем голосе, в скрипе зубов. Но если бы фрау Лямпе знала, что и кроме злосчастной аварии и лопнувшей фары, у герра Саранского были основания не любить герра Постышева, то она не стала бы сейчас блестять на него возмущенным взглядом, а отодвинулась бы на всякий случай подальше от него.

– Господи! – возопил по-русски Постышев и отчаянно изогнулся в кресле, – Да везите же меня скорее к вашему пивовару! К доктору! Сдохну же сейчас!

Фрау Лямпе вряд ли что-нибудь поняла, но как выглядит пораженный болевым шоком больной, она знала хорошо.

– Едем! Едем наверх! – воскликнула фрау Лямпе и ловко вкатила кресло со стонущим, бледным как побеленная стена, Постышевым в кабину лифта. Ей даже удалось развернуть там кресло лицом к Саранскому и к растерявшейся Ларисе Алексеевне.

Лифт вздрогнул, тихо, ровно взвыл электрическим своим организмом и мягко, без толчков, пополз кверху. Когда в пределах видимости оставались лишь стройные, чуть тоньше, чем следовало бы, ноги фрау Лямпе в непрозрачных, плотных чулках, колеса кресла и неестественно изогнутые ноги Постышева с разорванной, грязной штаниной на одной из них, фрау Лямпе выкрикнула:

– Поднимайтесь наверх по лестнице, герр Саранский! И не вздумайте исчезнуть!

Но Андрей Евгеньевич исчезать и не собирался. Его изворотливый, пластичный ум подсказывал ему, что из этой дурацкой аварии, пожалуй, можно и даже нужно (!) извлечь позитивное начало. Жаль только фары! Но тут – сам виноват! Суетится не надо!

Кивнув молча жене и подтолкнув ее под локоть к узкой винтовой лестнице в глубине прихожей, Саранский усмехнулся своим мыслям: все-таки нет ничего такого уж до конца случайного в жизни, нет ничего непредопределенного, ничего поверхностного! Всё уже давно расписано на какой-то далекой, не постижимой, гигантской доске, как план работ небесной канцелярии, всё рассчитано и размечено, лишь только ждет своего часа, и тогда включается механизм с неотвратимостью часового детонатора.

Хорошо бы это знать заранее всякого рода «невозвращенцам», диссидентам, беженцам и беглецам: когда-нибудь наступит час расплаты, и будет та расплата ужасна своей неотвратимостью и бесстрастностью. Тогда, может быть, и меньше стало бы тех, кто поднимает свою гордую голову над серой массой и, негодуя, ищет встречи с взором того, кто этой массой управляет, кто ее замешивает и подпекает. Это взор Горгоны! Окаменеет всякий, кто посмеет пренебречь правилами, не им установленными.

Тонкий расчет судьбы: ехала машина, шел человек...

## Венский розыгрыш

Саранский вспоминал тот последний день, в Вене, не без содрогания. Его будоражили не только размытая уже канва событий, но и въевшееся в память острое чувство рискованной игры. Это как воспоминания о далекой, забывающейся мелодии: ее нотного ряда не воссоздать, а сладостные ласки слуха и души помнятся так отчетливо, что живут уже сами по себе, как самостоятельное произведение ума.

Распоряжение Полевого необходимо было выполнять, тем более, что тот уже доложил в Москву об этом специальным зашифрованным письмом. Что он там «насобачил» Саранский не знал, как ни подкатывал к шифровальщику миссии – и с обещаниями, и с подарком, и с угрозами. Тот был безжалостен в своей профессиональной скрытности и также сер, как вся его затворническая жизнь за стальной непроницаемой дверью.

Оставалось одно – действовать так, как велел Полевой, но все же постараться разрушить его план какой-нибудь неожиданной, неидентифицируемой им мелочью. Вода спущенного с властных высот рукотворного потока должна была поменять русло и неожиданно обойти приготовленный для нее бассейн.

Пользуясь официальным позволением и даже планом агентурных мероприятий, сочиненным самим полковником Полевым, Саранский приехал домой к Постышевым. Утром, по расчетам Полевого, после вечерней провокационной беседы с Саранским, Постышев должен кинуться за помощью к американскому разведчику Вольфгангу Ротенбергу и попасться. Полевой уже даже представлял приблизительную схему беседы между предателем и вербовщиком – один клянется, ноет, другой требует, презирает. И – карающий меч. Сначала отрубает одну голову, потом примеривается к другой, к третьей. И вот – великая справедливость восторжествовала! И себе во благо, и другим в пример!

С принципиальной идеей Саранский был согласен полностью, без оговорок, но с распределением ролей – ни в коей мере. Он сам хотел держать в своей деснице рукоятку карающего меча, а не стать его очередной жертвой. Вот тут у него были категорические расхождения с Полевым. Карать им, правда, он никого не собирался, но приятно было осознавать себя могучим героем с благородным мечом в натруженных руках. В Германии он не раз любовался на этот памятник – солдат в плащ-палатке, огромный такой, могучий, и меч острием к носку сапога, а в крепкой, мускулистой руке – немецкое дитя, доверчивое, трогательное. Сила, мощь, благородство, любовь, надежность. Он тоже так хотел – чтобы меч, чтобы мышцы, спокойный взгляд и дитя..., то есть тот, кого следует защитить. Это может и не быть дитём, это может быть взрослый человек или даже целая семья. Ну не на руке, конечно – всех не выдержать, если ты не памятник, а из костей и мяса соткан, но загородить собой, накрыть боевой плащ-палаткой – это возможно! Очень неплохо смотрится! Почти как в Трептовом парке.

А Полевой так не хочет. Он желает всё по-своему – никаких героизмов, никаких памятников! Что бы всё тихо, всё скрыто, всё тайком...

И главное – никакой пощады ни своим, ни чужим. С чужими сложнее – их еще надо обнаружить, разоблачить, а свои..., свои ведь всегда под рукой. А если их щадить, тогда и работы никакой не видно. Всё как в сказке – придумали чудище, его же, придуманного, перехитрили, а потом еще и простили. Так что было то? А ничего! Если же не щадить, а отрубить ему голову, этому придуманному чудищу, то в памяти у общества и останется красивая сказка: русский богатырь с мечом-кладенцом в одной могучей руке и с щитом в другой одолел врага.

Андрей Евгеньевич размышлял и над разницей в словах. Он их чувствовал, как музыку – во всех необходимых нюансах. Вот ведь – враг и недруг. Бессилие и немощь. Что точнее, что впечатляет больше.

«Скажем, враг, думал Саранский, это тот, кто за чертой – видимой, жирной. Его надо сразу идентифицировать, внести в черный список и всем показать. А недруг? Этот может быть ближе врага, до «черты», даже другом может быть, и всё равно он – недруг. Он хуже, он больше, он сильнее, потому что отрицательная частичка в начале его полностью, исчерпывающе перечеркивает корень – друг. С врагом можно заключить мир, временный, хитрый, но всё же – мир. С недругом – нельзя! Потому что и войны не развязывали, и списков не показывали никому, хоть они и чернее черного. Там уж не разберешь – где сказка, а где быть!»

Также в бессилии и в немощи. Бессилие может быть от болезни, от усталости, а немощь – от злого духа, от рождения. Что хуже, что больше? Конечно – немощь! Так вот, друзья, бороться надо с недругом и с немощью, а они всегда близко к нам стоят, они на друзей только похожи, на усталых, приболевших друзей. Это они, подлые, за их родными шкурами скрываются. Волки в овечьих шкурах. Вот кто это!»

Но быть таким волком в овечьей шкуре, как того хотел Полевой, Саранский не собирався. Постышев другое дело – он и есть, по мнению Полевого, недруг и немощь, и его надо давить, как гниду. Но с какой стати туда же пришили и Саранского? И как теперь всё это разделить? Получается, загубить недруга – загубить и себя. Спасти недруга – спасти себя... Тут предательства никакого нет! Необходимая самооборона – не больше того! Если бы в один роковой ряд Саранского с Постышевым не поставили, то сказка бы сбылась – и меч-кладенец, и голова с плеч. Всё было бы! Но не теперь!

Русская история славна подобными коллизиями. Особенно, последняя, самая новейшая. Путаница из недругов и друзей. С врагами всё было ясно – они иностранцы, рождены далеко отсюда, говорят по-своему, верят в своё, в «ненаше». Их – в список и в Нюрнберг, на процесс! Тут всё ясно, всё справедливо. А вот с недругами, со своими, дело путалось. Они то по одну сторону черной, жирной черты, то по другую.

Именно так, должно быть, и было, когда Ягода из карателя превратился в жертву, и потом, когда та же судьба постигла Берию, Абакумова. Ведь каждого из них переигрывал последующий. Но то был – масштаб! Страна, держава, силища! А тут – всего лишь утонченная Вена, полковник Полевой, репортер Постышев и невесть кто Саранский. Но принцип, принцип-то везде действует один! Что для мухи, что для человека! Одна солнечная система, одни солнечные бури, одни и те же согревающие и испепеляющие лучи.

Андрей Евгеньевич, войдя в этот вечер, впервые, в нескромную служебную квартиру Постышевых, с любопытством огляделся. Всё имело тут временный, рутинный вид, словно хозяева и не намеривались жить здесь долго, а, напротив, ждали лишь распоряжения всё бросить и, собрав свои частные пожитки, переехать туда, куда укажут. Саранский даже подумал, а не прав ли Полевой, и так ли уж безобидно было его собственное сообщение о связях Постышева с Ротенбергом. От кого ждут вызова эти люди? Но Андрей Евгеньевич тут же отогнал от себя эту мысль, как абсурдную, потому что даже теоретически не мог себе представить, какого рода информацию для американской разведки должен был добывать корреспондент советского государственного информационного агентства за границей, на формальной и фактической территории того же врага. То есть почему это «наш» недруг спутался с «нашим же» врагом? Кому от этого польза в настоящих условиях? Это даже на детскую сказку не тянет. Действительно, абсурд! Ну, Полевой! Ну, прохиндей!

Из дальнего коридора, в конце которого угадывались комнаты, выскочила живая, раскрасневшаяся восьмилетняя девочка с задорными, упругими косичками и развязавшимися бантами. Она в растерянности остановилась у расширяющегося горнила коридора и, тяжело дыша, с любопытством посмотрела на Саранского. За ее спиной выросла тонкая фигура ее матери, большеглазой, черноволосой Тани. Она тоже запыхалась – видимо, они играли с дочерью во что-то очень подвижное и доступное в их огромной квартире.

Саранский растерянно шаркнул ногой и как будто виновато улыбнулся.

– Вот, – развел за его спиной руками Вадим, – Танечка! Неожиданный гость! Но мы ведь всегда рады! Правда?

Он тоже, словно извиняясь, искал черных глаз жены. Таня вежливо кивнула и мягко, тепло обняла дочь за плечи.

– Добрый вечер, Андрей Евгеньевич!

– Мда! – ответил Саранский.

В этот момент ему было совершенно ясно, что делать дальше. Возможно, впервые он почувствовал истинный укол совести за то, что сам же и явился зачинателем этой драмы, и еще он подумал, что полковник Полевой не просто законченный прохиндей и негодяй, но также и вредный для родины, для отчества дурак. Смять такого – благородное дело!

В душе Андрей Евгеньевич понимал, что тайно, очень тайно и к тому же очень поверхностно влюблен в Таню, в ее гладкие черные волосы, в ее тонкую длинную шею, в ее руки, пальцы, глаза. Это чувство проваливалось вглубь его, как только Таня оказывалась рядом. И тогда из поверхностного, необязательного оно становилось глубоким и горячим.

Саранскому не раз приходилось изучать на себе подобные ощущения с разными женщинами, и он считал это самым ценным из всех своих способностей чувствовать жизнь во всех ее тонких и трепетных проявлениях. И сейчас он испытывал восхищение даже не столько Таней Постышевой, чужой женой, сколько самим собой, надуманным, классическим образом благородного мужчины, в том его качестве, в котором он оказывался благодаря, правда, ей, тонкой, умной и нежной женщине. Это было странное чувство: тайная, волнующая страсть, обернутая словно отражение в зеркале иной стороной. Гармония ее внешних и внутренних тончайших, нематериальных, миазмов, живших лишь в его воображении, необыкновенная грациозность ее гибкого тела, томность ее глаз, изгиб губ, легкий лен ее негустых, но ровных, глянцевого волос отражались в этом невидимом зеркале и являли в конечном счете образ не той, что восхищала Андрея Евгеньевича, а, неожиданно, его самого – одаренного величайшей способностью оценить прекрасное и соответствовать, как ему казалось, его божественной высоте. Однако же он допускал мысль, что всё это лишь мечта, без которой нет жизни глубокому и тонкому человеку, которым он себя искренне считал.

Саранский отдавал себе отчет в уникальности этой женщины и в необычности своего к ней чувства, полного бессильного, но в то же время изуверского эгоизма и сладкой волнующей сердечной боли. Таких, как она, на свете мало! Это – редкий психологический тип, феномен прекрасного пола. Потому и «прекрасного»! Свою приспособленность ощущать этот тип и ценить его, он оберегал ото всех более всего. Даже от себя самого! Вся его сущность наливалась благородством, искупая всё то, что в ней содержалось до этого момента и будет содержаться по его истечению.

При удачных обстоятельствах такая женщина могла бы, наверное, стать его женой. Но смог ли бы он удержаться на этом чувстве всю жизнь? Смог ли бы балансировать на тонком канате там, где для других, редких людей, это единственная плоскость жизни, и слететь с нее возможно только в небытие? Должно быть, нет. Не смог бы! Устал бы и озлился, наконец. Быт бы заел, голод, алчность, раздражение. Всё бы противилось в нем, потому что одно дело – тайно любить со стороны и мечтать о тонкости чувств; и совсем другое – дышать этим ежечасно, ежеминутно, и не сожалеть о том, не искать простых, ясных форм на стороне. Пусть грубых, пусть вывороченных наизнанку, но понятных, своих. Нет уж, лучше отдать всё мечтам, и любить утонченную женщину со стороны, играть перед ней и перед собой в умное, сильное благородство и заставлять ее саму тайно думать о себе, как о более надежном, более мужественном варианте существования нежели тот, с которым она тонко сочетается – с ее мужем.

К тому же его останавливала непродолжительность своих ощущений – стоило Тане удалиться с его глаз, как ему оставалась лишь душистая память о ней, а всё то, что должно было возбудить его, взорвать, растерзать ему душу, бесследно испарялось, будто она это носила с

собой. Но она была его иконой, прекрасной, манящей святыней, имя которой – «ЖЕНЩИНА». Саранский искренне думал, что именно такой и должна быть любовь – платонической, неревностной, нежной, без ясных образов и без ясных мыслей.

Андрей Евгеньевич не знал, внушал ли он Тани Постышевой хоть какие-нибудь чувства, и даже предполагал, что и не мог этого сделать (он всегда был человеком прагматичным и трезвым), но от игры воображения не отказывался. Это была его заповедная территория, на которой действовали только его собственное воображение. И оно нередко буйствовало, билось в границах этого «заповедника». . . . Тонкая, изящная женщина, умные молчаливые глаза, правильный носик, очерченные страстью губы, матовая, с румянцем кожа. . . – каждый раз повторял он себе, расставаясь с ней, чтобы не забыть, чтобы не только ощущения, чтобы еще и образ. . .

Теперь он может ей помочь, и непременно сделает это! Пусть даже сам и виноват во всем!

А если Постышев провалится? Она останется одна-одинешенька! С дочкой! Тогда что ему делать? Сердце испуганно, трусовато ёкнуло. То самое зеркало, в котором отражалась не она, а его собственное благородство, с треском взорвалось уродливой сетью трещин, звонко посыпались осколки беды. Саранский с ужасом подумал, что одна страшная сказка, которую он сам и затеял по глупости, по подростки своей, может породить другую. И рухнет его заповедная, безобидная мечта: стремиться к ней, к чудной женщине, и не дотягиваться лишь самую малость. Вот она открыта, бери ее! Мир, нарисованный им, сразу поблекнет красками реального, нудного дня. Больше не будет легкости в воображении, несбывшихся, но от того не менее сладких, побед. Вместо всего этого придут заботы, которые он должен будет поднять на своих плечах. Это что-то вроде ненависти к симпатичному человеку, когда надо тащить на себе его тяжелый, как земля, комод. Сразу ясно понимаешь, что так мешало в ваших отношениях, и чего лучше было бы не знать.

Спасти Постышева, спасти себя, спасти Таню и их с Вадимом дочь, уберечь свою семью от бед и сомнений – вот для чего он теперь здесь. Пусть останется нетронутой девственная территория его мечты. Не нужно жизни!

Растроганный нахлынувшими ощущениями, Саранский отвел в сторону от Тани и девочки глаза.

– Как звать? – лишь спросил он, не глядя ни к кому в лицо.

– Верой, – послышался голос Вадима за спиной, – Как мою маму. . . , в память о ней. . .

– Верная, значит? – вдруг рассмеялся Саранский, – А кому? Кому верная? Папе с мамой?

Постышевы, включая маленькую Веру, ответили дружным смехом. Вере, как показалось Саранскому, это понравилось больше всех, потому что она, видимо, решила, что этот небольшой, худой дядька с сизыми, злыми глазами на самом деле веселый клоун, которого заманили родителя для ее веселья на ночь глядя. И то, что клоун скрытный, даже интереснее, потому что все добрые качества в нем откроются разом, весело и легко.

Но Таня быстро спустила свою руку с плеча дочери, перехватила ее за ладонь и повелительно толкнула в коридор, в сторону детской.

– Мы вам не станем мешать! – тихо сказала Таня, и, провожаемая взволнованным взглядом Саранского, растворилась с дочерью в темном жерле коридора.

Постышев указал ладонью в кресло и, дождавшись когда Андрей Евгеньевич сядет на его кончик, расположился напротив него, в таком же неудобном дешевом креслице. Саранский подумал, что и его, и постышевское репортерское ведомство всегда отличалось скупердостью и безвкусицей. Во всех служебных квартирах и офисах, даже если они располагались в дорогих домах, начинка московскими директорами приобреталась самая дешевая и мерзкая.

«Это потому, – подумал Саранский, – Что дома для них, а начинка для нас. Они когда-нибудь отнимут у всех эти квартиры и особняки по всему миру, а мебель, затертую, старую, выкинут вон, как и тех, кто по их воле здесь коротали годы, страдая от позора наглой, намеренной нищеты своей страны».

Он встряхнул головой и прямо посмотрел в глаза Постышеву.

– Вадим! – сказал он отчетливо, нисколько не боясь, что разговор прослушивается и записывается людьми Полевого, – Я здесь, потому что ты раскрыт!

– Не понял! – побледнел Постышев, – Кем раскрыт, почему раскрыт!

– Нашими раскрыт. Ты – предатель! Агент иностранной разведки! Твой хозяин – Вольфганг Ротенберг, американский резидент в Вене.

Белый, растрепанный Постышев вскочил на ноги и возмущенно захватил ртом воздух, но из его горла не слышалось ни звука. Он знал о второй сущности Саранского, об этом тут знали все и, наверное, наряду с другими и Вольфганг Ротенберг, но то, что это таким жутким образом коснется его, Постышева, он не мог предвидеть даже в кошмарном сне.

– Сядь, Вадик! – повелительно сказал Саранский и неопределенно завертел белками глаз и руками вокруг себя. Такую мимику и такие жесты понимали все советские заграничники – она означала, что их сейчас слушают очень далеко отсюда.

– Тогда почему же ты всё это говоришь! – возмутился криком, наконец, Постышев, – Убирайся вон отсюда, негодяй!

Но Саранский отрицательно покачал головой и продолжил как ни в чем ни бывало.

– Я никуда не уйду! Потому что пришел сюда, чтобы тебе помочь. Собственно говоря, я все, что от меня зависит, уже сделал – ты предупрежден, а дальше поступай как знаешь. Не далее как завтра тебя схватят прямо здесь, в квартире..., или в служебном кабинете... то есть в офисе, а ведь он тоже здесь! Так что, деваться тебе некуда!

– Но почему ты так открыто говоришь об этом! – не унимался Постышев, разбегаясь от окна к двери и обратно, мимо сидящего на кончике кресла Саранского, будто собирался вот-вот воспарить.

– Нас прослушивают. Я говорю это, понимая свою ответственность за сказанное, но и то, что это тоже предусмотрено. Беда в том, что всё тонко рассчитано. Ты в ловушке – так или иначе! Если мне не поверишь, то останешься здесь с семьей до вашего же захвата; если поверишь, то попытаешься бежать, и будешь захвачен прямо внизу, на выходе. Поэтому мне позволено сказать тебе всё, как есть. Ты – попался!

– Черт! Какой бред! Я не имею никакого отношения к делам этого Ротенберга! – взмолился Постышев и, заламывая руки почти по-женски, плюхнулся в кресло перед Саранским, – Мы просто пару раз встречались на каких-то концертах, выставках..., наши дети ходят в одну художественную школу..., жены немного общаются... И это всё! Всё! Кто виноват, что он работает на американцев! Я тут не при чем! Разве ты этого не понимаешь?

– Понимаю! – кивнул Саранский, – Это я на тебя донес, не зная, чем все это может кончиться. Просто фиксировал факт вашего знакомства. Ничего более, но кто-то посчитал, что ты предатель, и теперь маховик раскрутился здорово! Тебе несдобровать и не вывернуться, даже если ты чище Христа!

– Что мне делать, черт побери! – негодуя, всплеснул руками Постышев.

– Бежать! Но только не так, чтобы тебя поймали прямо внизу. Они ждут от тебя признания в связях с Ротенбергом и тем самым подсказывают ход, сами того не желая.

– Что ты имеешь в виду, Андрей! – с отчаянием заглянул в глаза Саранскому Постышев.

– Прoberись к нему и попроси помощи!

– С какой стати! С какой стати он станет мне помогать! Я ведь не связан с ним ни в самой малой степени! У нас ни разу, слышишь, ни разу не было разговора об этом! Да как ты мог на меня донести! Как ты мог!

– Это моя работа! ...И мой долг! – отрезал Постышев, – И ты об это всегда знал. Как хочешь, так и называй – донос, так донос. А я скажу – оперативная информация. Мы оба правы – каждый со своей стороны. Думаешь, твой Ротенберг обо мне ничего не знает?

– Мне это не известно, – мрачно, опустив голову, в отчаянии прошептал Постышев., но потом вдруг оглянулся зло, с яростью посмотрел на потолок и крикнул громко, ясно, почти по слогам, – Мне это не известно! Слышите вы! Не известно!

– Неважно! – строго оборвал его Саранский и продолжил тоном, не терпящим возражений, – Иди к Татьяне... я подожду здесь, а ты всё ей расскажи. От начала до конца. И не забудь добавить, что головы вам не сносить. Дело сляпают так, что комар носа не подточит. Суд в таких случаях закрытый, прокурор военный, да и судья... Восемь лет – минимум!

Постышев послушно поднялся, вновь опустил плечи и хотел уже было пройти мимо, но Саранский вдруг резко сунул ему в руку свернутый вчетверо лист бумаги. Вадим с испугом посмотрел на лист, потом в напряженные глаза Андрею Евгеньевичу, но тот нервно, повелительно толкнул его рукой в сторону жерла коридора.

Постышев шагнул в темноту. Перед самой дверью детской, в слабо освещенном тамбуре он, путаясь и надрывая бумагу, развернул ее. Мелким, быстрым почерком там было написано:

*«Всё, что я тебе сказал, абсолютная правда, но это в то же время разыгранный спектакль по сценарию полковника Полевого. Ты первый в его плане, а я – следующий. Если ты попадешься, из тебя выбьют показанию против меня и против каждого, на кого покажут пальцем. Нужны жертвы, нужен хороший скандал, мы с тобой как нельзя лучше подходим. Согласен, это моя вина – сам всех подставил! Но я не думал, что так выйдет. Никогда со мной такого еще не было! Так вот, ты должен действовать так, как я тебе говорю вслух, потому что это предусмотрено тем же сценарием Полевого. Но он думает, что сумеет тебя перехватить после твоего выхода от Ротенберга. Мол, договоритесь, и ты вернешься за семьей. Но поступи иначе. Иди туда, выйдя из своей квартиры через черный ход – с другой стороны дома, там, где ваш офис. Люди Полевого тоже там, но им дано указание тебя пока не трогать, чтобы создать у тебя иллюзию успеха. Подыграй им! Они хотят зафиксировать твою суету. Пусть фиксируют. Пощелкают на свою аппаратуру, покажут тебя со стороны кому-то из техперсонала посольства. Скорее всего, бабе какой-нибудь, официантке или горничной, которая работает на них. Она потом будет свидетельствовать на суде – проходила, мол, случайно мимо и ведал, как этот предатель суетился, как он убежал. Белыми нитками шито, но для нашего суда сойдет. Сам понимаешь! Для всего этого мне и велено напугать тебя до смерти и даже сознаться, что тебя провоцируют. Страху нагнать побольше. До истерики довести, чтобы ты глупостей понаделал, чтобы суетился.*

*А ты делай вид, что используешь черный ход якобы вопреки их ожиданиям. Они как раз этого от тебя и ждут, поэтому сейчас ничего предпринимать не станут. Поезжай к Ротенбергу, откровенно расскажи ему всё. Объясни ситуацию и проси помощи себе и семье. Он должен прислать сюда, на квартиру, свою жену, двух или трех корреспондентов из своего же информационного агентства, то есть от своей официальной крыши, и быстро вывезти твоих в миссию США или в их загородную резиденцию. Ты должен их ждать там или у Ротенберга. Повторяю, ни в коем случае не выходить от Ротенберга без гарантии того, что не будешь немедленно захвачен нашими! Иначе – конец! Оттуда пусть американцы переправляют вас через границу. Они могут.*

*Повторяю в сотый раз, Вадим: ни при каких обстоятельствах не вздумай возвращаться от Ротенберга, тебя захватят сразу при выходе из его квартиры или офиса. Только так мы сможем переиграть их. Они поймут*

*это лишь в последний момент, потому что до этого все будет идти по их провокационному плану. Они ни за что не успеют перестроиться. А я вывернусь, потому что вслух из того, что написал, ничего не скажу ни здесь тебе, ни им! И даже не пытайся меня разговорить. Жене всё объясни так, как я тебе говорил, а не писал, и громко попроси ее ждать твоего возвращения от Ротенберга. Даже повтори это.*

*Чиркни ей пару строк на обратной стороне этой записки и дай прочитать ее всю, потом заведи и верни мне. Скажи, чтобы заранее собрала документы и деньги. Вещей не берите! Заклинаю! Иначе, это провал! Пусть никому, кроме супруги Ротенберга, не открывает дверь. Ни при каких обстоятельствах! Даже, если пожар или потоп! Помни, что говорить ей вслух ты можешь что угодно, кроме того, что здесь написано. Обо мне не беспокойся – я сам решу свою судьбу. Твое спасение – это мое спасение, Вадим. Попадешься ты – погиб и я. Нужно рисковать! Обоим, Вадик».*

Постышев вдруг совершенно ясно осознал, почему Саранский так подробно и эмоционально написал ему записку: он хотел побега Постышева с семьей, потому что только таким образом мог доказать правоту своего первого доноса и беспомощность «разработчика» полковника Полевого. Не его, Вадима, он спасал, как пишет в своей записке, а себя самого! Он рассчитывал и тут сделать карьеру, сволочь! На костях – и Постышева, и его семьи, и даже этого дурака, мерзавца этого Полевого! Вот ведь сбежал Постышев! Значит, правильно о нем «сигнализировал» внимательный кадровый сексот Саранский, а чекист Полевой всё провалил, обгадился. Теперь Полевой, мол, спасая свою никчемную шкуру, клеветает на умницу Саранского. Война ведомств, война интеллектов. Заодно и Постышев с семьей далеко – никто, в том числе и он сам, не сможет опровергнуть глупое обвинение в шпионаже. Даже потом, спустя много лет! Зачем, мол, бежал, почему не пришел и не сдался к тому же Саранскому? А у Андрея Евгеньевича всё будет в порядке – и волки сыты, и овцы целы! Московское начальство определенно высоко оценит тонкость интриги Саранского, его остроумие, а Полевому пропишет ижицу за тупость и неповоротливость. Но и деваться теперь Постышеву было некуда, потому что он понимал, что Саранский также точен в своем прогнозе о будущем Постышева и его второй, нынешней, семьи, как и в настоящем расчете.

Вадим Алексеевич принял решение еще до того, как переступил порог детской, в которой Таня укладывала дочь и что-то уютное и ласковое шептала ей на ухо.

Когда он вернулся к Саранскому, его лицо было совершенно спокойно, бледность ушла, только чуть ярче, чем обычно, сверкали глаза.

– Я давно уже чувствовал за собой хвост, – вдруг печально сознался он, – И взгляды. Куда ни приду, везде какие-то мрачные типы..., Полевой тоже... Смотрит, смотрит... Я сначала думал, мне показалось, что за мной топают... Паранойя наша, шпиономания, знаешь ли... А тут, неделю назад, прихожу домой, а из подъезда мне навстречу два каких-то типа заполошенных..., мелькнули, «косяка» на меня бросили и растворились... Морды знакомые до боли...! Захожу в квартиру..., моих-то не было..., я им как раз двухдневную экскурсию устроил в Альпы..., и вижу, был кто-то. Вещи нет так лежат, и запах будто какой-то чужой... Я струхнул, конечно. К послу. Так, мол, и так, а он глазами хлопает. Не знаю, мол, ничего. Обратись, говорит, к Полевому. Я к нему и поперся как последний идиот. Он сейчас слышит, гад? Пусть слушает! ...Пялится на меня серыми своими зенками и несет чего-то: австрийцы, НАТО, американцы... Держи, мол, брат, ухо остро! Я ему про наши две родные рожи внизу, а он – обознался ты! Они, мол, умеют под нас подделываться, даже, говорит, гримироваться! А теперь, я вижу, под нас никто подделаться не сумеет! Мы – уникальны!

Постышев посмотрел почему-то в окно, потом на потолок, словно опять искал там микрофоны, и сказал уже тверже:

– Мне тут командировка выпала в Париж, так Полевой зарубил ее, потом еще, потом также с Лондоном, с Бонном. Но я по наивности еще надеялся, меня просто готовят к ротации, на смену... Домой то есть, а, видимо, они давно уже задумали содрать с меня шкуру. Не с меня, так с кого-нибудь другого! Тебе спасибо!

– Не за что! – усмехнулся Саранский, – Вы решили с Таней что-нибудь?

– Решили, – кивнул Постышев и протянул Саранскому скомканную бумагу.

Андрей Евгеньевич мельком взглянул на нее и прочитал написанное незнакомым, но каким-то очень ожидаемым почерком – *«Спасибо! Будьте вы прокляты!»*

Саранский покраснел и, отведя глаза, сунул, стараясь не шелестеть, бумагу во внутренний карман пиджака.

– Так что же вы решили? – спросил он мрачно.

– Я еду к Ротенбергу, добиваюсь встречи, прошу помощи, потом возвращаюсь за Таней и Маришкой, и мы, собрав необходимые вещи, едем на нашей служебной машине в американскую миссию. Именно об этом я буду просить Вольфганга. О политическом убежище.

– Молодец! – выдохнул Саранский, – Так и надо! Действуй! У тебя нет другого выбора.

Он многозначительно подмигнул Постышеву и сразу пошел к выходу. Его дебют окончен. Теперь посмотрим, как свой дебют разыграет Постышев.

## Три имени – один человек

...Нога сломана не была. Сильный удар, ушиб, огромный, до колена, синяк и содрана кожа на щиколотке до крови.

Доктор Арнольд и фрау Лямпе аккуратно и споро обрабатывали рану, бинтовали ногу, доктор что-то рассказывал, нахваливал собственное, семейное, пиво, выбалтывал свои пивоваренные тайны, выделяя, прежде всего, «мягкую», чистейшую воду, как основу пива, и особый, прямо таки, какой-то секретный солод.

– Доктор Арнольд... – невежливо прервал врача Постышев, на которого немного одурающе уже начало действовать болеутоляющее лекарство и непринужденная болтовня врача, – А почему вы един в трех именах? Почти, как в трех лицах?

– Для рекламы! – весело расхохотался доктор Арнольд, не переставая заботливо и умело обрабатывать посиневшую и распухшую ниже колена постышевскую ногу, – Все мои предки были врачами и все были трижды Арнольдами. К нам шли пациенты, чтобы даже просто взглянуть на таких знаменитостей и подставить им свои болячки. Нас избирали в магистрат, чтобы соседи думали о городе, как о необыкновенном гнезде трех Арнольдов. Даже однажды улицу... тут поблизости... так и называли, но во время британской бомбежки в конце войны от нее осталась лишь одна табличка и та покореженная и пробитая сразу в трех «арнольдах» осколками. А вообще – все лишь реклама! Но и правда, в конце-то концов. Я же действительно герр Арнольд Арнольд Арнольд. Вот и вы тут! А что бы вы сделали, если бы вам пришлось выбирать между каким-нибудь примитивным Кристианом Шмидтом и Арнольдом Арнольдом Арнольдом? Кому бы вы в конце концов подставили под нос свою посиневшую конечность?

– Вам, герр Арнольд Арнольд Арнольд, – убежденно ответил Постышев.

– То-то же!

Он усмехнулся, фамильярно похлопал Постышева ладошкой по щеке и подмигнул:

– Всё, герр Постышев. Вы, кажется, так представились?

– Именно. Вадим Постышев. Эмигрант.

– Вы хотите сказать, что у вас нет денег оплатить мне счет? – осуждающе покачал головой герр Арнольд.

– Ничего я не хочу сказать! Просто назвал свой социальный статус. Это как профессия. И только! А заплатит вам герр Саранский, который сбил меня на своей машине.

– Надо же было найти во всем Кёльне русского, чтобы именно его сбить на своем автомобиле! – рассмеялся герр Арнольд.

– Да еще старого заклятого... приятеля! – закончил за него Постышев и стал медленно сползать с операционного стола, на котором его и разложили во время перевязки. Фрау Лямпе вцепилась ему в предплечье, играя роль тормозного механизма. Ей это удалось, потому что Постышев даже не почувствовал, как его больная нога ступила на кафельную плитку пола.

– Вы знаете, ...я вам вот что расскажу, доктор, – сказал он Арнольду, который оценивая собственное искусство, ревностно рассматривал пациента со стороны. Доктор даже осторожно покачивал головой, будто упрямо пытался разглядеть недостатки своей работы, но, удовлетворенный, с облегчением вздохнул и, наконец, просветленными глазами уставился на Постышева. – После нашей жуткой, абсурднейшей гражданской войны, году, кажется, в двадцать втором прошлого столетия, в Тбилиси единственный на весь город автомобиль сбил насмерть единственного на весь город велосипедиста. Кто сидел за рулем автомобиля, не знаю, но велосипедистом был некий господин Симон Тер-Петросян по кличке «Камо» – боевик, подпольщик, убийца, грабитель банков и поездов, большевик, а после переворота – чекист. Умел когда-то убедительно симулировать сумасшествие, даже – невосприимчивость к боли! Говорят, он к тому же был эйдетиком, но даже это его не спасло! Нужно было, чтобы единственный автомо-

бил сбил единственного велосипедиста, и это случилось! Роковая судьба или подстроенная встреча! Как хотите, доктор...!

– У него были сильные враги? – поднял бровь доктор Арнольд и с новым, почти радостным интересом в светлых, небесно-голубых глазах замер перед пациентом.

– У него были сильные друзья! – криво усмехнулся Постышев, – Они потом и стали сильными врагами. Это как в любви – к ненависти всего лишь один шаг! Банальность, но о нее спотыкаются многие, и ломают себе шею... Однако тут всё было куда прагматичней! Господин Камо слишком хорошо знал, кто планировал «экссы»...

– Что планировал?

– «Экссы», то есть «экспроприацию». Грабежи! Например, ограбление тбилисского банка в тысяча девятьсот седьмом году. Многие из тех, кто угробил пятьдесят человек на том деле и взял крупную сумму пятисотрублевых кредиток, потом стали руководить Россией, герр Арнольд. Вот единственный автомобиль и переехал единственного велосипедиста.

– Что вы хотите этим сказать, герр Постышев? Что герр Саранский намеренно содрал вам кожу на щиколотке? – доктор с нескрываемыми издевательскими нотками в голосе рассмеялся, – Вы что вместе грабили банки?

– Я лишь хочу напомнить, дорогой доктор, что никогда не следует удивляться тому, что на первый взгляд кажется случайным. А авантюрную историю господина Камо я вам рассказал только для того, чтобы вы понимали русские дела не так, как они видны со стороны... Впрочем, вам это и необязательно! Бинтуйте ноги, головы, варите пиво, жарьте колбаски, тушите свой чудесный айсбайн, а мы уж как-нибудь сами...

– Терпеть не могу колбаски и никогда не ем айсбайн! – неожиданно мрачно прервал доктор и будто даже с обидой отошел от пациента в сторону, потом обернулся и наставительно, строго добавил, – В колбасном жире и в свиной ножке слишком много холестерина. Убийственно много! Сам не употребляю и другим не рекомендую... Это как единственный автомобиль наезжает на единственного велосипедиста. Никаких шансов!

Хромая, Постышев вышел в приемную и огляделся. В угловом кресле сидела Лариса Алексеевна, а рядом с ней, держась за ее плечо, будто готовился к фотографированию в старый альбом, стоял Андрей Евгеньевич. Постышев усмехнулся и громко потянул носом. Замершие, как на картинке, с чуть желтоватыми усталыми лицами, Саранские ожили и задвигались.

– Ну! – с волнением воскликнул Андрей Евгеньевич.

– Что, ну! Не сумел ты меня угробить и на этот раз, Андрюша! – ядовито проскрипел Постышев.

Следом за ним в двери показалась голова фрау Лямпе.

– Герр Саранский! – строго сказала она, – герр Арнольд ждет вас у себя в кабинете. Только не задерживайте доктора, прошу вас. У него еще визит к одному тяжелому больному. Там, правда, все уже совершенно бесполезно, но долг – есть долг.

В кабинете Арнольда пахло кожей и пивом, будто кожаную мебель этим пивом мыли.

Доктор Арнольд Арнольд Арнольд потребовал гонорар такого размера, что казалось, будто три пациента пришли на прием сразу к трем врачам. Саранский попробовал было несмело заметить это, но получил в ответ лишь рассеянный, задумчивый взгляд и кружку темного, терпкого пива.

– Я за рулем..., – нехотя стал отказываться Андрей Евгеньевич, но доктор осуждающе покачал головой, и Саранский впился в пенный обод кружки, измазав густой пеной верхнюю губу и щеки аж до висков. Он оторвался от кружки с мучительным выдохом, будто вынырнул из морской пучины, и закатил глаза так, как это бывает только у пораженных кессонной болезнью – от резкой смены давления и медленного закипания крови в жилах.

Деньги, отнятые у него опытной рукой «экспроприатора-хирурга», были уже надежно размещены в сейфе в одной из тумб массивного стола, и на Саранского смотрели теперь уже внимательные, изучающие глаза.

– Я распорядился не звонить в полицию, – сказал доктор милостиво, – Это стоит дороже, чем просто перевязать ногу.

– Но там была полиция! – несмело возразил Саранский, – Однако герр Постышев отказался от их услуг.

– Это его дело! А это, – он похлопал ладонью по тумбе со спрятанной в ней сейфом, – наше.

Он поднялся, давая понять, что дополнительной кружки семейного пива не будет. Саранский растерянно закивал и попятился к двери.

Все трое, Саранские и Постышев, садились в машину с разбитой фарой и каждый по этому поводу сокрушенно покачал головой.

– Ты, как всегда, обошелся мне дороже, чем я планировал! – печально посмотрел на Постышева Андрей Евгеньевич, оглянувшись назад, когда дверцы дружно захлопнулись.

– А уж как ты мне обходишься, Андрюша! Это кончится когда-нибудь, черт побери, или нет?!

– Куда тебя отвезти?

– Домой.

– Ты живешь здесь, в Кёльне? – он сделал паузу и вдруг, сообразив что-то, о чем еще не успел подумать раньше, добавил несмело, – И...Таня...с Верочкой?

– А как же! Ты езжай в центр, я тебе подскажу, где остановиться. Держи курс на кафедральный собор, это в двух шагах от него.

– Мда! Как говорится, красиво жить не запретишь! – Саранский отвернулся к рулю, двигатель тихо заурчал.

– Да уж! Теперь не запретишь! – двусмысленно ответил Постышев.

## Венский дебют Постышева

...Свой дебют тогда в Вене Вадим Постышев разыграл блестяще. Он вышел из дома, в котором была его квартира, как и уговаривались с Саранским, через так называемое черное крыльцо, хотя никаких таких «черных» выходов и входов в этих местах испокон веков не существовало. Вторая дверь, во двор, была предназначена жителям всех квартир на случай пожара или при необходимости внести в дом какую-нибудь крупную поклажу; либо спуститься по этой лестнице еще ниже – в подвал, где раньше хранился уголь для топки печей в квартирах, а теперь складировалась всякая ненужная домашняя утварь.

Во дворе топтались два суровых типа, в серых плащах и в темных костюмах. Как только они увидели, что дверь приоткрылась, сразу нырнули в автомобиль с небольшой цветной наклейкой на лобовом стекле, свидетельствующей о том, что этот автомобиль выдается какой-то компанией лишь для аренды.

Вадим Постышев заметил суету штатских, но немедленно отвернулся в сторону и заспешил к освещенной улице. Краем глаза он все же увидел, как те двое выстроились за ним в короткую шеренгу, почти в затылок друг к другу, и сделал над собой волевое усилие, давшееся ему с большим трудом, чтобы не побежать.

Однако он вспомнил о признании Саранского в том, что весь их разговор прослушивался, а значит, он должен был вести себя как можно естественней, поддерживая версию о том, что знает о наблюдении и теперь даже старается его обнаружить. Он уже смелее «огрызнулся», завертел во все стороны головой и немедленно заметил, что один из тех двоих, что идет впереди второго, остановился и сделал какой-то знак тому, что идет сзади. Постышев увидел и ту же машину с наклейкой на лобовом стекле. Она медленно ехала вдоль тротуара. Это означало, что преследователей было, по крайней мере, трое – кто-то же должен быть за рулем, а рядом с ним вполне могли устроиться еще один или даже два готовых на всё типа. Впрочем, если его собирались захватить при выходе от американца, то места бы в машине не хватило. Нет, окончательно решил Вадим Постышев, в машине определено двое – шофер и еще кто-то, потому что после его похищения один из оперативников сядет рядом с водителем, а двое надежно зажмут его сзади.

Все эти наблюдения почему-то успокоили Постышева, и он даже улыбнулся своей проницательности.

Вообще его стала забавлять и даже приятно беспокоить сердце необычная острота ситуации, ее абсурдная и в то же время вполне логичная путаница: они *знают* о том, что он *знает* о том, что они *знают*, а они делают вид, что он не *знает* о том, что они *знают*, и он делает вид, что не *знает* о том, что они *знают*. Обе стороны только делают вид, что ничего не *знают* и в то же время *знают* об этом. Черт побери! На самом же деле никто ничего не *знает*, хотя думает, что *знает* всё. Единственный, кто *знает* о том, что ни они, ни он ничего не *знают* – Саранский. Но и Саранский не *знает* о том, что он ничего не *знает*. Хотя, возможно, все стороны и догадываются о чем-то и на самом деле всё *знают*, но не *знают* о том, что всё *знают* и от этого такой же эффект, как если бы никто ничего не *знал*. Умен лишь тот, кто скажет себе словами античного гения: «*я знаю, что я ничего не знаю*». Сократ, великий мыслитель древности, родившийся почти за полтысячелетия до Христа, и сказавший это, по свидетельству другого философа – Платона, имел в виду лишь то, что люди думают, что *знают* всё, а на самом деле они ничего *не знают*. И тот, кто *знает* о том, что *ничего не знает*, *знает* больше других. Ровно на сто процентов больше! В два раза! Вот это преимущество! Вот этот как раз *знает всё!*

Не в этом ли суть работы всех политических разведок, и не в том ли, что кто-то в абсурдной, бесконечной истории о том, что у «попа была собака и он ее любил...» сумеет поставить где-нибудь точку и прервать этот безумный круг? Какой же остроты должен быть ум того, кто

это сделает! И какая вселенская ответственность! Ведь по сути это шизофрения, психоз! Детская игра, ставшая взрослым кошмаром вместе с повзрослением упрямых, помешанных детей. Политики, страны, системы забираются на эту карусель и крутятся на ней до рвоты! Все уже бледные, истощенные, усталые, обмоченные и загаженные, а всё крутятся и крутятся! Счастлив тот, кто вовремя спрыгнет с карусели. Главное, не расшибиться! Не сломать себе шею. Но весело же! Весело и легко на душе!

Постышев тихо засмеялся, будто помешанный, и весело, озорно посмотрел себе за спину. Двое человек на улице, встретившись с ним взглядами, встрепенулись, напряглись. Они ничего не поняли в этом взгляде и поэтому не на шутку испугались.

В детстве, в Москве, в старом дворе на Писцовой, в котором всегда жили семьи только военных, мальчишки играли до одури в «казаков-разбойников» или в «ромбы». Игры были похожи, но все же отличались своим устройством. В первой игре мальчишки делились на две враждебные команды. «Разбойники» чертили на асфальте мелом или палкой на грунте стрелки, указывающие направление, в котором они скрылись. «Казачки» гонялись за «разбойниками» и выводили их из игры одного за другим, всего лишь «осалив», то есть дотронувшись до плеча или спины противника. Если же из засады вылетали первыми «разбойники», то, «осалив» «казаков», они выводили их из игры. Тут роли менялись. Выигрывали те, кто оставались в большинстве.

В «ромбах» же заранее писались бумажки с парными номерами, около каждого из которых ставился плюс или минус. Эти бумажки, называемые «ромбами», бросались в воздух, мальчишки расхватывали их и сразу делились на две команды – на «плюсы» и на «минусы». Ценились те игроки, кто был вынослив, силен и способен к длительному и быстрому бегу, потому что «плюсы и минусы» разбегались в разные стороны, а потом разыскивали друг друга. Никто не знал, какой номер у противника и, если ты догнал его и бил ладонью по плечу или по спине, а он поворачивался и с наглой улыбкой показывал тебе больший, чем твой, номер, то ты вынужден был отдавать ему свой «ромб», а он приплюсовывал к собственному номеру отнятый у тебя. Таким образом, постепенно отряды мелели, и оставалось только двое противников. Позволялось однополюсным союзникам объединять свои номера у одного из игроков, сохраняя это в тайне ото всех. Выигрывал тот, у кого наибольший набор номеров и кто сумеет догнать и «осалить» противоположный знак. Это была хитрая и отчаянная игра. «Плюсы» и «минусы» шли на разные ухищрения, на блеф, чтобы запутать противника, загнать его в ловушку, заставить поверить, что у подставленной фигуры маленький номер, а после этого, когда оказывалось, что это и есть лидер с наибольшим номером, отнять все завоеванные «ромбы».

Тут тоже была своя тактика – можно было внутри команды в самом начале игры поменяться номерами. Самому слабому иной раз отдавали наивысший «ромб», чтобы его легко догоняли противники с противоположным знаком и тут же бы отдавали ему свои номера. Но в этой тактике были свои серьезные недостатки, потому что никто не знал, как быстро противоположная сторона сумеет накопить наибольшее число и у кого оно окажется в руках – а если у самого выдержанного и сильного! Тогда от него не уйти, и последний «слабак», будь у него даже высокое число в руках, обречен. Приходилось все время считать, но никто не знал, каков была изначальная цифра, кто пожертвовал лидеру свой «ромб», и поэтому ошибка была вполне вероятной. Тут было задействовано всё – и сила, и ловкость, и хитрость, и ум. Не последнюю роль играло чутье, интуиция. Все эти качества типичны для хорошо подготовленного разведчика. Пик игры приходился на последнюю стадию – когда оставалось лишь двое игроков и точное число никто не знал. Всех путал стговор полюсов.

Вадим был из «слабаков», несмотря на свой высокий рост. Он всегда был худым, тонконогим, длинношеим. Поэтому ему часто доставалось «блефующее» наибольшее число, это и радовало его и пугало.

То, что происходило с Постышевым сейчас, очень напоминало ему нечто среднее между «казаками-разбойниками» и «ромбами»: он «рисовал» стрелки за собой, а «казаки» не знали величину его номера, и вполне могли отдать свои «ромбы» в конечном счете. Но мог отдать свой «ромб» и он, если Саранский был дважды провокатором, и та записка играла роль сговора в однополюсном сообществе «ромбов».

Но это лишь раззадорило Постышева, возмутило его сознание своей опасностью, воспалило его инстинкт самосохранения и давало шанс обернуться из загоняемой в угол жертвы в сильного, острозубого хищника.

Срыв мог быть только в одном, полагал он – если Вольфганг Ротенберг куда-нибудь уехал, и его нет дома. Почему-то Постышев не допускал и мысли, что американский шпион откажет ему в помощи. С этой стороны Постышев опасности не ждал. Дело в том, что Вадим не имел ни малейшего отношения к работе разведки и даже не представлял, что может помешать разведчику отказать в помощи такому человеку как он. Будь Постышев оперативником, он никогда не решился бы на то, что ему насоветовал Саранский, и даже наоборот, сразу бы усомнился в профессионализме Андрея Евгеньевича или, по крайней мере, в его конечной искренности. Объяснялось это просто: любой разведчик, работающий «под прикрытием», в таком обращении к нему со стороны сомнительной фигуры, какую представлял собой Постышев для всех сторон, усмотрел бы, прежде всего, провокацию, или, по крайней мере, стандартный прием оперативной комбинации противника. Это – либо средство внедрения в разведывательную систему, либо попытка проверить разведчика или даже его скомпрометировать. Самым разумным было бы отказать в помощи и понаблюдать, чем всё это кончится.

Но Постышев всего этого не знал и наивно полагал, что Ротенберг немедленно включится в игру на его стороне. Какого же было его разочарование, когда столь удачный его «дебют» вдруг натолкнулся на препятствие, мгновенно выстроенное американцем лишь потому, что у него не было никаких оснований нарушать классические формы защиты.

Знал ли об этом заранее Саранский или нет, теперь уже не скажешь. Скорее всего, он предполагал такое развитие событий, но все же оставлял шанс на усталость, любопытство или просто гуманность Ротенберга.

Ошибся и он, и Постышев. «Дебют», столь блестяще разыгранный в первые мгновения, попал в западню ретроградства.

Среднего роста, с глянцевого, румяной лысиной, сорокалетний мужчина, отперев дверь своей квартиры почти с испугом осмотрел высокого, худого, длинношеего запыхавшегося русского репортера.

– Вольфганг! – тяжело дыша, произнес Постышев, – Впустите, ради всего святого! За мной гонятся!

Ротенберг после секундного колебания и быстрого, мажущего взгляда за спину Постышеву, отступил на шаг.

Вадим ввалился в прихожую и, буквально вырвав из рук американца дверь, с силой захлопнул ее за своей спиной.

– В чем дело! – колебался американец между желанием вспылить и необходимостью быть вежливым в любом случае.

– Меня хотят похитить и отправить в СССР, – выпалил Постышев.

– Кто! – судя по тону этого кроткого слова, американец сразу стал склоняться к первому чувству. Постышев это ощутил и впервые за все это время по-настоящему испугался. Игра в «ромбы» вдруг стала щетиниться незнакомыми правилами, и ему показалось, что очков, зажатых в его потной руке, сейчас может не хватить на окончательную победу.

– Чекисты! – с надеждой в голосе вызвать у Ротенберга возмущение, а не страх, как у него, выстрелил он прямо в лицо американцу.

– Но почему! – голос американца приобретал стальные нотки. Это еще больше напугало Постышева, он густо покраснел, на лбу выступила испарина.

– Они считают меня вашим агентом, – сглотнув слюну, уже тихо, с хрипотцой сказал Вадим.

– Какая чушь! Почему агентом? И почему моим? У меня не может быть агентов. Я такой же журналист и репортер, как и вы, коллега! – окончательно укрепив голос металлом, ответил Ротенберг и блеснул на Постышева ненавидящим взглядом.

– Черт побери, Вольфганг! – воскликнул Постышев, – Вы меня убиваете! И мою семью!

Он быстро прошелся по крошечной прихожей, преследуемый внимательным, холодным взглядом Ротенберга, остановился перед ним и вдруг схватился за голову:

– Боже! Какой я идиот! Это же всё мерзость! Они просто решили использовать меня как провокатора!

– Кто они? – голос прозвучал совершенно бесстрастно, словно с магнитофонной ленты, используемой для изучения иностранного языка в лингафонном кабинете.

– Да чекисты же! И этот...Саранский! – окончательно упав духом, почти прошептал Постышев.

– Уходите! – решительно сказал американец и взялся рукой за замок, – И никогда! Слышите? Никогда не обращайтесь ко мне даже с приветствием! Я не ожидал от вас, мистер Постышев, такой гадости!

Краска схлынула с лица Вадима, и он, опустив голову, повернулся спиной к Вольфгангу. Изогнувшись, тот щелкнул замком и потянул на себя дверь. Ее нижний угол уперся в постышевский башмак. Вадим отдернул ногу, отступил назад, толкнув спиной хозяина квартиры, и, словно готовясь нырнуть в непроглядную пучину, с отчаянием шагнул на лестничную площадку. Дверь за его спиной смачно щелкнула замком и тяжело вздрогнула.

Всё было кончено. Он медленно спускался вниз по лестнице, марш за маршем, потом остановился и, предчувствуя наступающий кошмар, резко перегнулся своей долговязой фигурой через перила. Он не собирался прыгать вниз, а лишь хотел проверить, не там ли ютится засада.

Постышев не успел никого разглядеть, потому что его ноги вдруг оторвались от каменного пола и он ухнул вниз головой в трехпролетную пропасть лестницы. Две серые тени метнулись в сторону в тот момент, когда длинное тело шлепнулось на каменный пол.

## «Немецкая волна»

– Как ты тогда выжил! – спрашивал Саранский, скользя машиной по узким улочкам Кёльна и поглядывая в зеркало заднего вида, – И надо же такому случиться: опять угодил в кошмар! Теперь уже под мои колеса!

– Выжил? – рассмеялся Постышев, – Почему выжил? Я себе просто здорово отшиб спину! Врачи сказали: удачно упал. Голова уцелела, позвоночник, кости, ребра тоже. Копчик зашиб и мягкие ткани...

– Жопу, что ли? – усмехнулся Саранский.

– Андрюша! – возмутилась жена и с негодованием отвернулась к окну, за которым огнями метался в ночи город.

– Да что я такого сказал! – продолжал упрямо настаивать Саранский, – Ну, ушиб свой «мускулюс глистеус»! Это вам нравится?

– Я же сказал, спину в основном, – без какого-либо волнения ответил Постышев, – До сих пор побаливает к дурной погоде. А теперь еще и нога, опять-таки по твоей милости, начнет саднить!

Саранский продолжал кружить по городу, стараясь попасть на улочку с односторонним движением, в конце которой, рядом с кафедральным собором, по словам Постышева, он и жил с Таней и с маленькой Верой.

Андрей Евгеньевич повернул в профиль голову к сидящему сзади Постышеву и спросил:

– Вадик! А я за всем этим запомнил у тебя поинтересоваться – а где ты работаешь? На что вы живете?

Постышев помолчал немного, раздумывая, стоит ли сообщать что-нибудь о себе этому человеку, но всё же ответил:

– Я работаю на Deutsche Welle...на радио...

Саранский испуганно притормозил, тут же услышав за багажником машины недовольные короткие гудки – резкие приемы в узких уличных проездах здесь были не приняты. Он осторожно, взяв себя в руки, втиснулся в щель между двумя припаркованными около тротуара автомобилями и остановился. Мимо окон его машины медленно проплыли те, кто раздраженно гудел мгновение назад. На Саранского через чисто вымытые окна своих автомобилей смотрели сдержанные, но очень недовольные, с гранью соблезнующего презрения, взгляды. Для них лишь дипломатические номера автомобиля, то есть официальная принадлежность к иностранному сообществу, объясняли и даже до определенной степени прощали его дорожную бесцеремонность. Это – как человек со странностями от природы или ранения; как деревенщина, оказавшаяся в большом городе; как плохо воспитанный ребенок в обществе неглупых взрослых. Другой бы получил всё, что ему причитается в таком случае, а этим немногочисленным категориям нарушителей многое прощается – такова привилегия сильного перед слабым. Дипломаты и иностранцы из традиционных обществ это понимают и стараются не попадаться на крючок вынужденной вежливости. У остальных же – как получится!

Андрей Евгеньевич повернулся к Постышеву:

– Послушай, Вадик! А почему мы не слышали тебя ни разу по этому чертовому «Велле»!

– Я всего лишь редактор. Только готовлю передачи..., но в эфире не работаю..., голос у меня того...слабоват. Но я ни разу против России, ничего! Не позволяю себе!

Саранский почесал затылок, отвернулся от Постышева и сказал, не адресуя это никому:

– Езжу, понимаешь почти каждый день мимо...этого... Парит, чадит, ...исчадь ада!

– Кто чадит?! – возмутился Постышев.

– Радиостанция ваша, вот кто! А еще говорят, ее хотят в Бонн перевести..., на Шумахер-штрассе уже и строительство начали.

Это было сказано таким раздраженным, недовольным тоном, каким сообщают о строительстве под окнами своего жилого района мусороперерабатывающего комбината.

Саранский включил левый поворотный сигнал и, не дожидаясь позволения едущих слева автомобилей, резко вывернул на проезжую часть. Сзади вновь возмущенно загудели и несколько раз нервно засветили дальними огнями фар.

– Да идите вы, фрицы недорезанные! – выкрикнул Андрей Евгеньевич и упрямым, почти орлиным взором уставился перед собой.

– Андрюша! – как и прежде, с возмущением, воскликнула Лариса Алексеевна.

– Что Андрюша! Что Андрюша! – не унимался взбешенный Саранский, – Вон сидит сзади... в ус себе не дует. Мы врага с тобой возем! «Немецкая волна», понимаешь! «Deutsche Welle»! Клеветники, мать их в глотку!

– Андрюша! – опять вскрикнула жена, – Что ты такое говоришь!

– Останови машину! – вдруг понизив голос, потребовал Постышев, – останови машину, гад!

Саранский испуганно, чувствуя, что «перегнул палку», притормозил и на этот раз, соблюдая все положенные в таком случае дорожные правила, съехал с проезжей части в уютный, неглубокий тупичок. Постышев сразу же открыл дверь и, пыхтя, оберегая ногу, вылез из автомобиля. Саранский живо выскочил вслед за ним.

– Ты чего, Вадик! – крикнул он и ухватил Постышева за рукав, – У тебя же нога... и того..., штанина болтается как собачьи... эти...

– Сам ты как «собачьи эти»! – прошипел сквозь сжатые зубы Постышев, – Пошел ты! Враг я им, видишь ли! А они мне друзья!

– Да я не то хотел сказать, Вадик! – суетился Саранский, все крепче сжимая Постышева за предплечье.

– А что, что ты хотел сказать! Что друг? – Вадим с силой рванул руку и услышал, как подмышкой затрещала ткань.

Андрей Евгеньевич в панике отскочил в сторону и замахал руками:

– Да остановись ты, чудак-человек! Я тебя к самому подъезду доставлю!

Вадим обернулся, потом осмотрелся вокруг себя и зло ухмыляясь, сказал:

– Уже доставил! Спасибочки!

Он пропустил автомобиль, медленно едущий по узкой улочке, и, сильно хромя, волоча за собой жалкую разорванную штанину, перешел на другую сторону. Саранский не стал его догонять, а лишь пристально вглядывался в удаляющуюся фигуру.

Постышев остановился около крыльца высокого серого строения, достал из кармана связку ключей, поколдовал над замком подъезда и исчез в нем, громко хлопнув массивной дверью. Андрей Евгеньевич прошел чуть вперед, остановился на противоположной от того дома стороне и медленно стал подниматься взглядом к верхним этажам. Окна горели почти везде, и он пытался угадать, за каким из них ждут Вадима его Таня и Вера. Ему показалось, что на третьем этаже, за высокой двустворчатой рамой, метнулась знакомая изящная фигура. Душа у него вновь сладостно вздрогнула, как это бывало раньше в Вене, когда он видел или даже просто чувствовал поблизости Таню. Он с опасением быть застигнутым врасплох женой обернулся на свою машину и разглядел за бликом лобового стекла ее напряженное лицо.

Одна из фар автомобиля по-прежнему не светила.

– Надо бы заменить ее побыстрее! – сказал сам себе в полголоса Саранский, еще раз скользнул взглядом по чужим окнам и, сгибаясь под тяжестью невысказанного и недоделанного побрел к своему автомобилю. Спроси его сейчас, о чем он думал, когда сказал о быстрой замене, он скорее всего бы смутился. Очень уж двусмысленно это выходило; двусмысленно и неожиданно.

Он не знал в этот момент, что кое-что ему еще всё-таки придется доделать и что история не закончилась этим вечером, как и не этим вечером она началась.

## Ботинки Постышева

Вадим «прихромал» домой совершенно разбитый – и в прямом и в переносном смысле слова. Таня взволнованно, удивленная необыкновенной задержкой на службе, выглядывала его в окно. Но с их третьего этажа гордо выпяченного к небу каменного тела дома улочка почти не была видна – лишь крыши проезжающих в узком пространстве автомобилей, да и то лишь тех, что выше обычных легковых, да еще угол небольшого тупичка справа от парадного. То, что в сектор наблюдения попадет ее Вадим, Таня совершенно не надеялась, но беспокойство упрямо гнало ее к окну.

Появление Вадима она ощутила на необъяснимом чувственном уровне, не услышав ни его голоса, ни его шагов, и, конечно же, не увидев его. Просто она поняла в какое-то мгновение, что сейчас распахнется дверь и метнулась к ней от окна.

Вадим, тяжело вздыхая и подметая пол разорванной штаниной, ввалился в прихожую их съемной квартиры с гигантскими потолками и свалился в ротондовое креслице рядом с дверью.

– Боже мой! – вскрикнула Таня и строго округлила свои темные глаза, – Это что такое!

– Сказал бы, что бандитская пуля, как в рязановском кино, – печально усмехнулся Вадим и стал потирать ладонями обеих рук вытянутую вперед ногу в разорванной штанине, – Да пули, видишь ли, не было!

– А что, что было! – возмущалась Таня. Она склонилась рядом с вытянутой столбом ногой мужа и опасливо дотронулась до нее длинным узким пальцем с холеным ногтем.

– Бандитский бампер. Вот, что было, Танюша! – покачал головой Вадим, – Месть чекистов догнала. Когда ее уже совсем не ждешь.

– Что ты несешь! – Таня мгновенно покрылась краской и, оступившись, села на пол рядом с ногой Вадима.

Он засмеялся и протянул ей руку. Таня ухватилась за его ладонь, но потом, испугавшись, что доставит боль Вадиму, оттолкнула ее от себя и быстро поднялась.

– Помнишь Саранского?

– Кого? – Таня еще больше округлила глаза.

В прихожую задумчиво вышла Вера, кусая верхушку толстого красного карандаша. Вадим раскрыл ей объятия, и она, совершенно не замечая ранения отца, прыгнула к нему. Вадим поморщился, но желание прижать к себе девочку оказалось сильнее боли.

– Саранского, – повторил Вадим, зарываясь лицом в волосы дочери, – Худенького такого мерзавца на автомобиле с тяжелым бампером.

– Саранский? Андрей? – продолжала удивляться Таня, и рассеянно посмотрела на дочь – Вера, отпусти отца! У него сейчас нога отвалится и нам придется ее выбросить! На ночь глядя!

Вера с удивлением оглядела вытянутую вперед ногу и испуганно отодвинулась от Вадима.

– Он самый! – Вадим вздохнул и с кряхтением, не сгибая ноги, поднялся во весь рост, – Я себе шел, шел, никого не трогал..., а тут меня хрясь бампером! Открываю глаза – между мной и небом перепуганная насмерть рожа Саранского. Я сначала подумал, мне всё это снится, а потом как почувствовал боль в ноге, сразу понял, что заснуть еще долго не придется.

– Ты был в больнице?! Что с ногой? – Таня цеплялась за пиджак Вадима, как она это всегда делала: залезала ему подмышку и обхватывала своими цепкими, неожиданно сильными руками за бока.

С другой стороны на Вадиме повисла Вера. Он вдруг почувствовал себя счастливейшим на свете человеком, обхватил с высоты своего роста обеих и порывисто прижал к себе. Хромая и растерянно улыбаясь, он, поддерживаемый, прошел в комнату, и там его отпустили, потому что впереди был старый, потрескавшийся кожаный диван, к которому его по привычке тянуло

с того самого момента, как он вышел со службы, даже еще до того, как его треснуло бампером Саранского.

– Меня треснуло бампером Саранского! – сказал он вслух, падая на диван и задирая кверху, на валик, обе ноги в пыльной обуви. Одна из ног была в разорванной штанине и отсвечивала свежей, упругой бинтовой перевязкой, – Как звучит, Танюша! Бампер Саранского. Как кристаллы Сваровского! Эстетично, хоть и не очень ценно.

– Папа! – громко произнесла Вера и ткнула вытянутым указательным пальцем на огромные ботинки отца, возвышавшиеся над круглым валиком дивана так, словно их носки вот-вот достанут до высоченного потолка, – Сними «ботинки Постышева».

Она твердо знала с самого начала своей разумной жизни, что эта крупная деталь отличает ее отца от всех остальных, и всегда обращает на себя внимание мамы, если ботинки не сняты в прихожей, а повели за собой влажный след по паркету всей квартиры, где бы эта квартира ни была. «Ботинки Постышева» значили для нее столько же, сколько для кого-то кожаное пальто со знакомым запахом, курительная трубка с памятными царапинами, ущербинами, или древний домашний халат с потертым воротником и заштопанным локтем. Это был опознаваемый предмет, за которым стоял уютный, домашний покой и привычка к нему, без чего, подсказывало ребенку неосознанное еще чутье, не бывает дома, не бывает будущего. Те, у кого был такой дом, могут вспомнить нечто такое же, на первый взгляд, забытое, но при внимательном, дотошном воспоминании – заключающее в себе то большое и важное, что умещается в «малом», например, в «ботинках Постышева», как в этой семье.

Вадим и Таня неожиданно весело переглянулись, услышав от Веры ее нешуточное, важное, в замен мамино, замечание. Оба, одновременно, подвинулись к дочери – он, приподнявшись с дивана, а она, усевшись на его краешек – и порывисто обхватили девочку с обеих сторон. Вера ловко, привычно вывернулась и, строго погрозив родителям огромным карандашом, унеслась по коридору, выходящему сюда, в гостиную, так же, как это было в венской квартире, в сторону своей комнаты.

Уже в постели, поздно ночью, прижимая к себе Таню, Вадим шепотом рассказывал ей и как ее сбила машина, и как вокруг собралась толпа, и про полицейского, и про струсившего Саранского с его серенькой женушкой, и про доктора с тремя одинаковыми именами, и про то, что это, к счастью, всё так обыкновенно закончилось – он припелся домой, а Саранского с его кислой физиономией и тяжелым бампером он потерял на улице.

– Ну и ладно! – сквозь сон шептала Таня, уютно вращая Вадиму подмышку, – Ну и черт с ним с его рожей и с его бампером! Спи себе! Завтра сходим к врачу с одним именем, а не с тремя. У тебя ведь есть страховка. К тому же, полицейский записал твое имя... Настрочит бумагу, а страховщики ее прочитают, и всё будет тип-топ...

Вадим привык к тому, что, когда она засыпала или, напротив, неожиданно отходила ото сна, ее мысли смешно путались и кружились в забавном, сонном мозаичном танце. Он усмехнулся в темноту и, с трудом сдерживая свою нежность, чтобы не дать ей воли, просто прижал к себе жену. Она уютно подчинилась его движению, засопела и почти мгновенно уснула. Вадим, боясь потревожить ее, лежал в неудобной позе, лишь слегка пошевеливая больной ногой, желая почувствовать ее местоположение, чтобы ненароком, во сне, не растревожить.

## Ночные кошмары

Он не засыпал, наблюдая за редкими бликами на высоком потолке от фар случайных машин. Однажды он уже так лежал, израненный, боком на кровати, но только к нему не прижималась Таня. Это было в госпитале, в Вене. Он тогда всё пытался понять – как это он оторвался от пола и ухнул в лестничный пролет? Не толкнули ли его? Но вспоминая все подробности, говорил себе, что рядом никого не было, если, конечно, не считать страха. А ведь в таком случае, как его, страх вполне может иметь свое лицо, свое человеческое тело, свои мышцы, тяжелые кулаки и оскаленные челюсти. Но он не всегда материализуется в одушевленный образ и убивает даже раньше, чем хоть что-то подтвердит его реальность. Материализовавшийся страх – это убийца, которого по всем законам следует искать и предавать суду. А что делать, если страх всего лишь живет в твоём сознании, если он не успел материализоваться, то есть неподсуден и недоказуем? Но он также реален, как человек, в которого он обращается! И также эффективен! Страхи не живут в нас, они всегда вне наших тел – просто одни их ощущают, а другие глухи к ним. Здесь нет места трусливой мистике, здесь всё реально.

Вот почему его ноги оторвались от лестницы и он свалился вниз! Возможно и те две тени, которые метнулись от его тела, тоже плод воображения? Он почти с болью в голове напряг память, всё повторилось заново в его сознании, но уже как будто на замедленном кадре, тягучем как застывший, холодный кисель.

Конечно! Там были два человека. Они даже взвизгнули, когда он приземлился на спину и его сознание уже отлетало. Это были материальные тела! Несомненно! Значит, Саранский не лгал. Его должны были захватить прямо внизу. А что бы они сделали дальше? Ведь не на родине же! Тут всем следует менять лица, прятать глаза, стираться из памяти властей... Нет! Всё просто! Укол чем-то сильнодействующим, потом бы выволокли из подъезда, словно пьяного, бросили бы в машину и укатали в посольство. А там опять накачали бы чем-нибудь, и так до самой Москвы. Очнулся бы в камере на Лубянке, во внутреннем изоляторе. Говорят, там три этажа, они связаны с основным зданием. Поволокут по узким темным коридорам, втолкнут в душную, без окон, комнату, бросят на одинокую табуретку и уйдут, а он будет с отчаянием дожидаться следователя. И сразу первый же вопрос:

– Что вы делали в квартире американского шпиона Вольфганга Ротенберга?

– Нет! – крикнул бы Вадим, – Я там не был!

– Тогда какого черта вас понесло в его дом? – криво ухмылялся бы следователь.

Пришлось бы плести что-нибудь несуразное, а следователь бы слушал и записывал, а потом прокрутил бы магнитофонную запись разговора с Саранским. И «под грузом изобличающих фактов» пришлось бы сначала сознаться в том, что ходил к шпиону Ротенбергу, а потом, наверное, и в том, что постоянно передавал ему какие-то важные государственные тайны. Он бы не смог назвать эти самые «тайны» и в обвинительном заключении следователь через пару месяцев написал бы, что гражданин Постышев не осознал всю тяжесть своей предательской деятельности и со следствием на сотрудничество так и не пошел. Не разоружился перед властью, перед партией! Беспроигрышное прохиндейство с их стороны, черт побери! Танюшу не пожалеют, Верке изуродуют жизнь! А бывшая его семья? Сын? Первая жена? Она как же! Из нее же все соки выдавят – дай, понимаешь, показания на своего бывшего муженька и всё тут! На предателя! Тебя предал с сыном, теперь родину! Гад!

Нет, это хорошо, что он свалился в пролет и перепугал насмерть своих похитителей. В таком виде они не могли его подобрать и доставить в посольство. А если он насмерть расшибся! А если умрет у них на руках! Как всё это потом объяснять? Как обтяпать такое дело!

Вот тебе и игра в «знаю-не знаю»! Он знал, что они знают, что он знает, что они знали... Навязчивый, как дурной сон, абсурд! Никто ничего не знал! И он сам! ... Что его вытолкнет за

дверь Ротенберг, что он ухнет в лестничный пролет и что останется при этом жив, хоть и не очень здоров... «Я знаю, что я ничего не знаю»! Сократ и потом Платон, который донес нам на Сократа. Может быть, они тоже были разведчиками, эти философы? Древнегреческими, античными разведчиками-философами? Боже, какая чушь! Бред отмирающего в сон мозга.

## Завершение венской партии

Первым ранним утренним его посетителем в той венской больнице была Таня, отчаянное, бледное и изящное привидение с огромными, черными заплаканными глазами. За ней, цепляясь, за широкую шерстяную юбку, как ее маленькая испуганная копия, жалась Вера.

– Ты нас с Веркой когда-нибудь доведешь до кондрашки! – всхлипнув, сказала Таня.

– Хорошенькое дело! – попытался улыбнуться Вадим.

– Хорошенькое дело! – подхватила Таня.

– У меня только немного болит спина и голова, – оправдывался Вадим, – А так я как огурец! Длинный и тонкий!

– Тебя толкнули? – будто не желая услышать ничего, кроме подтверждения, хищно сузила глаза Таня.

– Никто меня не толкал, – почему-то застеснялся Вадим, – Я сам..., перегнулся через перила и не удержался... Я хотел посмотреть, не ждут ли меня внизу...

– Почему ты вышел от Вольфганга? – воскликнула Таня, – Мы же договаривались, что ты останешься у него, а за мной с Верой приедут!

– Он меня выставил за дверь! – вспомнив всё разом, с горькой обидой, почти готовый разрыдаться от стыда, низким голосом ответил Вадим, – Но вы-то здесь! Оказывается, это тоже выход! Они не посмели вас схватить после моего прыжка..., то есть после того, как я свалился вниз...

– Ты сказал – прыжка! – напряженно вымолвила Таня и с тем же прищуром, подозрительно, будто догадалась о чем-то очень важном, посмотрела на мужа.

– Оговорился! Я оговорился...

– По Фрейду! – изобличала его Таня, – О чем думал, то и сказал!

– Дурак он, твой Фрейд! – рассердился Вадим, – Старый параноик! Ему самому лечиться надо было...

– Тебя не спросили..., – обиделась за Фрейда Таня.

Она когда-то окончила психологический факультет московского университета и до сих пор не могла смириться с мыслью, что ее заставили отказаться от темы дипломной работы, в которой главным действующим лицом был как раз этот самый Зигмунд Фрейд. Ей тогда строго указали на его мелкобуржуазные заблуждения, на навязчивость его сознания, на «сексопатологию его личности». Так и сказали! И еще что-то гадкое говорили, и даже называли, как и теперь ее Постышев, старым параноиком.

– Я больной человек, измученный недоверием со стороны друзей и врагов! – делано застонал Вадим и блеснул на Таню и Веру озорным, хитрым глазом, – А ты меня Фрейдом пугаешь! Травишь прямо!

– Ты специально прыгнул вниз? – упрямецствовала Таня, не желая менять тона.

– Да нет же! Что я, сумасшедший, что ли! Случайно всё вышло..., – он осекся, потому что опять подумал, что не будь этой случайности, сейчас бы он уже летел в Москву без памяти, а Танюша с маленькой Верой рыдали бы в их венской квартире под приглядом какой-нибудь жестокой молчаливой сволочи. А утром следующего дня и их бы отправили на мстительную и злопамятную родину.

В дверь вошел высокий молодой врач, за ним шагал пожилой полный австриец с внимательными глазами потомственного полицейского. Вадим подумал, что сразу заполучить такие глаза первым в роду невозможно. К ним должны идти несколько поколений честных, непреклонных полицейских. Это почему-то успокоило Вадима.

– Герр Постышев, – мягко сказал врач и качнулся на своих длинных, как будто соломенных, ногах, – Как вы себя чувствуете?

– Как парашютист, которого обманули..., – попытался отшутиться Вадим, но врач не принял шутки, а кинул косо́й взгляд себе за спину на полицейского, и оба явно получили подтверждение своим самым наихудшим подозрениям.

– Какой такой парашютист? – подозрительно спросил полицейский с честными, суровыми глазами старого пса.

– Это анекдот..., – смутился Постышев, – У нас есть такой анекдот... Понимаете? Парашютисту обещают счастливое приземление, а за смелость предлагают в награду новый автомобиль...

– И что? – не понижая градуса недоверия, потребовал продолжения истории полицейский.

– А ничего! – вспыхнули вдруг Вадим и покраснел, – Парашют не раскрылся, а парашютист летит и ворчит: «с парашютом надули, теперь посмотрим, как с машиной»! Старый анекдот! С бородой! Понимаете?

– А причем здесь вы? – чуть задумавшись над услышанным, строго и серьезно продолжал настаивать полицейский.

– Он здесь не причем! – услышали все от порога решительный голос.

Вадим вскинул в сторону голоса глаза, но врач и полицейский загоразивали от него говорившего. Таня и Вера быстро развернулись на голос.

– Вы кто такой! – мгновенно, словно выхватил оружие из кармана, бросил старый полицейский.

– Вольфганг Ротенберг. А вы старый матерый полицейский волкодав! – рассмеялся человек у порога, – Только слепой этого не поймет! Великолепная реакция!

С этого момента всё сразу изменилось в жизни Вадима и Тани с Верой. На глазах у наблюдателей из советского посольства, которые несколько раз, возглавляемые сотрудником консульства, пытались прорваться в его палату и кричали, что советского гражданина силой удерживают на больничной койке, и что в Москве ему предоставят лучшие условия для выздоровления, Вадима уложили в «линейку» и увезли в загородную резиденцию американской миссии. К нему приставили двух медсестер, двух охранников, очень похожих на тех, что встретились ему как-то в подъезде (это почти животное сходство псов одной породы, с той лишь разницей, что одна из пород выведена на западе, а вторая на северо-востоке – всего лишь рацион и климатические условия разделяли их), а один раз все же пришел старый полицейский и уже куда более приветливо, чем в больнице, стал спрашивать, не толкнул ли кто-нибудь Вадима вниз, и не видел ли он кого-нибудь постороннего в подъезде.

Постышев сначала задумался, как ответить на вопрос о посторонних в подъезде, но все же решил, что это его с ними «внутреннее дело», почти «семейное», и сказал, что никого не видел. Он подписал какие-то бумаги и полицейский исчез.

Таня с Верой жили тут же, в соседнем флигеле и виделись с Вадимом постоянно, кроме тех случаев, когда к нему приезжал Вольфганг с одним любопытным типом и настойчиво спрашивал, почему он решил прийти в тот вечер именно к нему и кто ему сказал, что Ротенберг разведчик.

– Это все знают! – упрямо твердил Вадим.

Ротенберг краснел и недоверчиво качал головой, а любопытный тип поглядывал на коллегу с явной издевкой.

Через две недели, когда Вадима в последний раз осмотрел врач-американец, лысый, серьезный мужчина лет пятидесяти, и заключил, что он совершенно здоров и что ему просто необыкновенно повезло с этим его «лестничным» прыжком, Ротенберг приехал с тем же любопытным коллегой и сказал:

– У вас есть выбор, дорогой Вадим: мы вернем вас и вашу семью советским парням или переправим вас в Германию. Тайно переправим, потому что ни австрийцы, ни немцы не захо-

тят оформлять нужные бумаги. Слишком много шума, слишком много неприятностей. Вы нас с позиции разведки совершенно не интересуете. Всё это бред советских контрразведчиков! Вы не интересны ни нам, ни немцам, ни австрийцам! Но...принять участие в вашей судьбе, как и в судьбе Татьяны и вашей маленькой дочки мы просто обязаны. Иначе это было бы безнравственно! В Кёльне, в «Deutsche Welle» для вас есть место редактора. На первое время мы субсидируем вас некоторой суммой...из специального фонда одной неправительственной организации, а там дальше посмотрим... Приживётесь, приработаетесь... Впрочем, вы можете вернуться домой... Только скажите, и никаких проблем!

Вадим задумчиво посмотрел на Вольфганга, потом на его коллегу и спросил:

– Я за всё время ни разу вас не спросил, Вольфганг..., почему вы тогда мне не помогли? Почему вы выставили меня за дверь, на лестницу? Я бы не упал с лестницы, ничего такого бы не случилось! Всё бы могло получиться с меньшим скандалом...

Вольфганг и тот, что так и не назвал своего имени, переглянулись и покачали головами.

– Именно, Вадим! – сказал Ротенберг, – Ничего бы не вышло! И ничего бы не было! С какой стати мы принимали бы в вас участие? Тогда пришлось бы сознаться в несуществующем, то есть в том, что вы наш агент. А это ведь не так! Но теперь, когда вы явно пострадали, когда вас просто затравили ваши же власти, мы можем вмешаться как гуманитарная организация, неправительственный фонд или как, в конце концов, солидное информационное агентство с цивилизованными взглядами на права человека, да и просто, как люди, которые могут помочь... Это объяснимо, и это освобождает от ответственности не только нас, но, поверьте, и вас! Никаких оснований подозревать вас в шпионаже в пользу врага теперь уже нет!

– А что были? – криво ухмыльнулся Постышев.

– Конечно, нет! – впервые сказал безымянный тип, – Я это могу подтвердить...

– А вы кто? – повернулся к нему Постышев, – Я вижу вас уже, по крайней мере, в третий раз, но даже не знаю вашего имени.

– Виноват, – хмыкнул безымянный, – Зовите меня Биллом. И только! Я эксперт из службы национальной безопасности и в мои обязанности входит проверка тех иностранцев, кто случайно или намеренно попал в зону наших интересов.

– Черт с вами, Билли, и с вашей безопасностью, – проворчал Постышев, – У нас таких, как вы, хоть пруд пруди.

Он с раздражением, неожиданным для себя самого, вдруг понял, что те, от кого он хотел улизнуть, вездесущи: они могут выглядеть по-другому, говорить с детства на других языках, но они – братья, они необходимы друг другу и похожи друг на друга, как два противоположных полюса.

Постышев прищурился, разглядывая Билли и подумал, что, судя по землистому цвету его лица он такой же пьяница и прохиндей, как его тайные советские коллеги. Наверное, только нашей водке предпочитает виски.

Вадим поморщился и с презрением спросил:

– Вы водку пьете?

– У меня почечная недостаточность, – ответил Билл так, будто называл другой спиртной напиток, а не тот, о котором спрашивал Вадим.

– Наши, такие как вы, водку пьют. А с почечной недостаточностью их бы комиссовали, как профессионально непригодных.

– А что, если бы я сказал, что пью? – с обидой спросил Билл.

– Я бы тогда вас лучше понял. Раз пьёт, значит, предсказуем, а кто не пьёт, тот закладывает... Закон разведки! – зло рассмеялся Вадим.

– У нас всё не так. У нас как раз непредсказуем тот, кто пьёт..., – защитил обиженного коллегу с почечной недостаточностью Вольфганг, – Но вы не ответили на мой вопрос: мы вас возвращаем вашим или вывозим тайно, вместе с семьей, в Германию?

– А если я скажу, возвращаете нашим, как это отразится на Тане и Вере? – прищурился Вадим.

– Таня тоже может сделать свой выбор. Она – человек с такими же правами... – убедительно покачал головой Вольфганг.

– Она не поедет в Москву, – задумчиво сказал Постышев, будто и не слушал Ротенберга, – Ни за что не поедет! Мы уже говорили с ней об этом.

– А вы еще колеблетесь? – сквозь зубы спросил Билли.

– Как вам сказать... – устало вздохнул Постышев, – Это ведь моя вторая семья... В Москве осталась Люда и сын..., Коля..., Ники, по-вашему... С ними-то что будет?

– Это вне нашей компетенции, – сухо прервал его Ротенберг., – Словом, жду вашего ответа. Не позже завтрашнего утра.

Оба американца решительно развернулись и вышли из комнаты. Билли, уходя, на секунду задержался около прямоугольного настенного зеркала в прихожей и с тревогой оглядел свое лицо – неужели он так похож на русского пьянчугу? Но что-то его успокоило, и он быстрым, торопливым шагом догнал Вольфганга.

Постышев и сам понимал, что выбора у него нет, но очень не хотелось выглядеть в глазах американцев беспомощным загнанным мелким зверьком. Почему-то именно это его более всего оскорбляло.

– А ты и не хищник! – рассмеялась вечером тот же дня Таня, – И не травоядный! И не грызун! Ты вообще не зверек...

– Кто же я тогда? – печально вздохнул Вадим.

– Человекообразный...

– А они человеки? – печально усмехнулся Постышев.

– А они человеки.

– Кто они? – оживился Вадим, блеснув на Таню глазами, – Ты кого имеешь в виду?

– А ты? – не сдавалась она.

– Всех..., и тех и других.

– И я всех.

– Вот как! – обиделся за себя Вадим, – А почему так?

– Потому что они диктуют условия содержания в своем зоопарке, а не ты. И кормят они... К тому же составляют на своих питомцев биологические паспорта – вот хищники, вот травоядные, а вот и близкие к ним – человекообразные. Ты – человекообразный. И мы тоже. Разве это так плохо?

– Даже трогательно, – покачал головой Вадим и обнял Таню.

Утром следующего дня Вадим на вопросительный взгляд Вольфганга, который на этот раз приехал один, молча кинул. Через три дня, ночью, за Постышевыми заехал длинный черный автомобиль с непроницаемыми, как в катафалке, окнами, за рулем которого сидела молодая женщина со сжатыми в узкую неприветливую струнку губами. Усаживал всю семью в машину Вольфганг.

– Магда довезет вас до Мюнхена, – сказал он коротко, – Там она даст вам немного денег и временные документы, и вы на поезде самостоятельно доберетесь до Кёльна.

В этот момент на территорию въехали еще две такие же черные машины с женщинами за рулем.

– А это что? – раскрыл от удивления рот Вадим.

– За воротами стоят наготове невежливые советские парни, – кивнул головой куда-то в сторону Вольфганг, – Пусть поломают себе головы, в какой машине вы... Ясно?

– А если угадают?

– Не угадают. Мы ихотрежем...

– Что значит, отрежем?

- Не волнуйтесь... Никто не пострадает, просто не дадим преследовать ни одну из машин.
- Почему женщины за рулем? – настаивал Постышев.
- Это вас удивило?
- Еще бы!

Вольфганг усмехнулся:

- Вот поэтому. Их это тоже удивит. А шок в таком деле решает всё.

Постышевы не заметили границы между Австрией и Германией. Машина лишь один раз притормозила за все время пути от Вены и тут же набрала скорость. Потом очень быстро был Мюнхен и огромный железнодорожный вокзал. И чистый, ночной поезд до Кёльна...

## Кёльнский реванш

Андрей Евгеньевич очень нескоро бы забыл кёльнскую встречу с Постышевым и долго бы мучился своей виной – и в первый раз объездил его судьбу и во второй раз внес в нее свои коррективы – если бы обстоятельства не помешали ему не то, что постепенно забыть, «замылить» в памяти тот уличный эпизод, а даже напротив – вынудили вспоминать его во всех подробностях.

Все же Саранский был человеком «душевным» – именно так о нем говорили люди. При всех его циничных высказываниях (а к этому он имел склонность и даже кичился этим), сам он им следовал далеко не всегда и далеко не всегда выстраивал в соответствии с их духом свою жизнь.

Вот, например, как-то он в посольстве еще в Австрии высказался следующим образом: «разумная жизнь обреченно расположилась на пяточке, зажата между великими империями вирусов, грибов и клещей». На него удивленно обернулось несколько неглупых лиц. Сказано это было по поводу назначения в миссию полковника Полевого.

И вроде бы имен не называлось, и никаких точных параметров, а всем всё стало предельно ясно. Цинизм прозвучал не столько в самой фразе, сколько в успокоенности, бесстрастности тона. Однако же именно Саранский в дальнейшем больше всех остальных был замечен в общении с Полевым, хотя, как известно, тот его на дух не переносил. Саранский полагал, что причина в том, что кто-то передал ему тогда, в самом начале, его циничное высказывание. Вряд ли Полевой понял сказанное во всей его философской глубине, но душок презрения, вызываемый сочетанием таких неприятных, медицинских словечек – вирус, грибок, клещ – запал ему в душу. Любое появление перед ним Саранского приводило его в раздражение, какое может вызвать лишь острое брезгливое чувство. Впрочем, и Саранский в тайне отвечал ему тем же.

Так вот, Андрей Евгеньевич далеко не всегда следовал в своей жизни тем выводам, которые делал сам же, нередко удивляя окружающих умным, холодным и зрелым цинизмом своего мышления.

...Очень примечательным было то, что последовало за побегом Постышевых. Скандал развернулся грандиозный! Он напоминал злобный налет северного ветра на корабельное полотнище. К тому же полотнище больше напоминало черного «Веселого Роджера», нежели гордый державный стяг. Сомнительную тряпку трепало и полоскало так бойко, что с неё чуть было не слетели все кости и даже сам лысый, пустоглазый череп.

Полевого вызвали в Москву и заставили раз десять в разных интерпретациях написать рапорта, объяснительные записки, отчеты, покаянные заявления и даже один раз он уже под диктовку, обливаясь липким потом, царапал рапорт об отставке. Рапорт был упрятан в чей-то массивный государственный стол и угрожающе лег там, как мина, которую приведут в действие в любой момент: на рапорте не было числа.

Полевой пытался всё свалить на «двурушничество» Саранского, но после детального прослушивания всех переговоров Андрея Евгеньевича с Постышевым, просмотра всех пленок и фотографий, а также изучения его первых рапортов о связи Постышева с американцами, начальники пришли к выводу, что во всем виноват недалекий полковник, а не опытный, умный и осторожный Саранский.

На всякий случай, дабы избежать дальнейшего обострения отношений, Саранского, воспользовавшись его известными просчетами на ниве пропагандистской журналистики, отозвали на время в Москву.

Полевого оставили в Вене, но в должности понизили, назначив над ним его заместителя, человека известного своей скупостью, мелочностью и непомерными амбициями. Когда же Андрея Евгеньевича вновь вернули в «международный оборот», то есть отправили в Бонн

на длительное поселение, Полевого все же отозвали и определили ему невыездную должность. В его службе посчитали, что куда безопаснее иметь его поблизости от штабного центра, чем дать волю в отдалении от него.

Возможно именно так бы и закончилась карьера полковника Полевого – в тесном кабинете на юго-западной окраине Москвы, и он никогда бы не больше встретился с Саранским, если бы не одна короткая аналитическая записка, сделанная чей-то внимательной, бесстрастной рукой.

В ведомстве Полевого было принято регулярно «обозревать» вражескую прессу с целью «изучения и выявления» заложенных в ней опасных тенденций. Группа неразговорчивых лингвистов (достаточно противоречивое и даже абсурдное качество в их изначально гражданской образовательной среде), давших когда-то строжайшие предостерегающие подписки о неразглашении того, что вычитают в официальной западно-европейской прессе, каждое утро штудировали сотни страниц газет и журналов, и даже рекламных реляций, которые регулярно доставлялись в Москву специальными рейсами. Всё это прочитывалось от первой буквы до последней, составлялись тенденциозные аннотации, после чего всю макулатуру нумеровали, регистрировали и сдавали в «спецхран» одного из идеологических научных институтов. В подвалах, где она хранилась, поддерживалась постоянная, комфортная температура, сухость и щадящее освещение. Стоило это огромных средств и при этом не обещало когда-нибудь стать полезным для государственных интересов. К стеллажам, на которых это всё хранилось, почти никто не допускался – за исключением неулыбчивых, молчаливых научных работников гуманитарных академических институтов, занимавшихся изучением международных отношений, экономики и торговли вне границ СССР. Своими людьми здесь были и соискатели научных званий в области освободительного, рабочего и профсоюзного движения, что для сведущих людей по обеим сторонам идеологической границы означало лишь одно: финансирование террористических и откровенно уголовных режимов борцов за народную волюницу (вдали от границ Советского Союза, конечно же!), регулярная пересылка денег и деньжищ «братским коммунистическим партиям», скупка недвижимости и ценных акций крупных иностранных предприятий, организация промышленного шпионажа и даже диверсий, а также еще целый перечень разных мероприятий оперативного и агентурного характера с интернациональной, тротилковой начинкой.

И всё же первичная задача упомянутых чуть раньше лингвистов состояла в отслеживании событий, которые могли иметь значение для ведения разведывательной работы за границей.

Аналитики, не знавшие иностранных языков так, как лингвисты, просматривали приготовленные для них аннотационные справки на своем родном языке, выуживая полезную для различных секретных отделов информацию. Как известно, из официальной прессы можно получить куда больше разведывательных данных (если смотреть на это комплексным, внимательным взглядом), чем даже – из живого источника.

В дальнейшем именно эти люди составили костяк тех интеллектуальных групп, которые и разработали при смене социальной формации в России новую пропагандистскую идеологическую систему. Натасканные в старые годы на разных казусных явлениях в обществе «золотого рыночного тельца» они, имея в основе собственный богатейший идейный опыт, сумели соединить казалось бы антагонистичное, противоречивое и с блеском создать алчного, могущественного и злобного монстра, который, украсив себя золоченными гербами, водрузился надолго на национальный трон.

Но в те годы еще никто и не думал о столь широком применении всего этого сомнительного интеллектуального ресурса, но аннотации исправно готовились, сортировались и подшивались. Особое, пристальное внимание уделялось любому упоминанию о советских гражданах и об эмигрантах всех бьющихся в том времени или даже давно успокоившихся волн. Тут из пучин мировой политики или обычного бытового болотца можно было выудить не только раз-

ложившегося во времени тело политического уопленника, но и обнаружить упрямого, живучего пловца.

Однажды начальству Полевого попалась на глаза коротенькая справочка, в которой было бесстрастно изложено одно рядовое дорожное происшествие:

*«Бывший советский гражданин Вадим Постышев (лишен советского гражданства указом № с143/87) попал в автомобильную аварию в гор. Кёльне 12 октября 1988 года в микрорайоне Браунсфельд, о чем сообщено в двух местных газетах. Авария произошла по вине сотрудника советского посольства в Бонне Андрея Саранского. В. Постышев претензий не имел и уехал на машине сбившего его А. Саранского. Вместе с Саранским находилась женщина, которую он представил полицейскому сержанту как свою супругу».*

Записку перечитывали и так и эдак, потом позвонили в Бонн полковнику Столетову, который выполнял там те же поручения, которые в свое время выполнял в Австрии полковник Полевой и попросили срочно проверить информацию.

Антон Антонович Столетов был человеком тонким и умным. Он сразу сообразил, что у дела будет развитие, которое может бросить тень на очень многих его коллег и даже на изменяющиеся политические отношения в мире. Участвовать в этой игре, которую он сразу охарактеризовал для себя как «сомнительную», он сначала не пожелал, и поэтому пошел по самому простому пути, исключая его присутствие в дальнейших оперативных комбинациях. Он начал с того, что вызвал к себе в кабинет Саранского и прямо спросил его:

– Слушай, Андрей Евгеньевич! Что это у тебя за история вышла с этим невозвращенцем, с Постышевым?

– Давнее дело, – покраснел Саранский и отвернулся на мгновение, чтобы подавить в себе испуг, – Сбежал из Вены. Разрабатывали его, а он почувствовал, гад, слезку и с помощью американцев, своих хозяев, дал дёру...

– Куда? – уставился на Саранского своими немигающими, ясными голубыми, как весеннее небо, глазами Столетов.

Андрей Евгеньевич тяжело вздохнул и ответил:

– Сюда. Точнее, в Кёльн.

– И давно ты об этом знаешь?

– Не очень, Антон Антонович.

– Что ж не доложил о том, что сбил его на своей служебной машине?

– Так это..., не придал, так сказать... – Саранский опустил глаза и густо покраснел.

– Не придал, говоришь? Ну-ну!

Столетов поднялся из-за стола и прошелся по комнате. Потом вернулся к себе, опять сел в кресло и постучал ладонью по крышке стола, негромко, но требовательно.

– А что за женщина была с тобой в машине?

– Как! И это уже доложили! – искренне возмущился Андрей Евгеньевич, – Делать им нечего! Жена моя! Лариса Алексеевна. Вот, что за женщина! Можете у нее спросить. Мы отовариваться ездили в Кёльн, а тут прямо под колеса нам бросился этот... этот отщепенец! Он мне еще в Вене надоел, предатель!

– Ладно тебе, Саранский! Не горячись... Будем считать, ты мне всё доложил, как следует..., в устной, так сказать, форме...

Андрей Евгеньевич благодарно блеснул глазами на Столетова и тяжело вздохнул.

– А теперь, – продолжил Столетов и протянул Саранскому белый лист, – всё аккуратненько, со всеми подробностями изложишь вот здесь.

Андрей Евгеньевич растерянно взял в руки лист, зачем-то повертел его перед собой, словно искал начертанный на нем какой-то тайный знак, и спросил, сглотнув слюну:

- Я?
- Ты. Кто же еще? Сбил-то ты? Или врут всё враги?
- Так он... того... сам виноват..., и врач сказал – только ушиб...
- Вот и пиши.
- Когда?
- Сейчас пиши! – уже строго, заметно раздражаясь, набычился Столетов.

Саранский поднялся, оглянулся, увидел в стороне, около мутного окошка небольшой столик со стулом и, понурясь, побрел к нему. Он уже отчетливо понимал, что кто-то собирается развернуть из этой дурацкой истории новый скандал.

– А откуда это известно? – уже смелее, суше спросил он у Столетова, – Кто настучал-то?

– Никто. В газетах прописали немцы. В Москве это дело вычитали, вот и интересуются. Сам ведь знаешь о такой службе! Собственно, ты к ней и имеешь почти прямое отношение. Так что, ты пиши, пиши, Андрей Евгеньевич! Наше дело маленькое...

Одного листа не хватило, несмотря на то, что Саранский писал обычно мелким, бисерным почерком. Он выводил слово за словом, стараясь избегать эмоциональных оценок. Пришлось, однако, уделить несколько строк объяснению странным именам доктора Арнольда, потому что в Москве могли посчитать это его, Саранского, издевкой над здравым смыслом. Своих разговоров в машине с Постышевым он не описывал и даже наврал, что всю дорогу до его дома все молчали. Потом подумал, что это могут посчитать саботажем его профессиональных обязанностей, и кроме того, задаться вопросом, зачем он таскал врага по врачам, а потом еще и предупредительно отвез его во вражье логово, и дописал:

*«Целью моего участия в судьбе Постышева в день аварии была оперативная целесообразность и желание выявить его местоположение в Кёльне. Разговоров с ним не велось, дабы избежать подозрения с его стороны о намеренности моих действий».*

Прочитав обе фразы, Саранский поморщился, потому что с литературной точки зрения они были совершенно бездарны – безграмотная тавтология в словах «цель» и «целесообразность», да и само построение предложений, одного и другого. Но по опыту Саранский знал, что чем в ней больше претенциозной канцелящины, тем она милей его начальству, которое плохо разбирается в литературных стилях, а любые «завитушки и кандибоберы» в рапортах своих сотрудников считает их похвальным стремлением угодить слуху и глазу начальству, да еще показать достойный этого начальства свой образовательный уровень. Именно так когда-то объяснял канцелярскую стилистику Саранскому один его высокий московский начальник, солидный человек с всегда красным, испитым лицом и с тремя высшими образованиями: уральского политехнического института, московской высшей партшколы и учебного заведения КГБ в Минске. Все эти образования ни черта ему не дали, потому что он их благополучно пропил. Однако Господь одарил его редким чутьем: знать с кем пить, что пить и где пить. В купе с чистой анкетой, насквозь пронизанной очевидной пролетарской преданностью конечной идее, то есть построению альтруистичного коммунистического рая, это возвышало его над остальными. Особенно над теми, у кого в анкеты вкрались какие-то досадные помехи.

Столетов прочитал рапорт и подумал о том же, о чем и Саранский. Он по образованию был филологом – окончил когда-то с блеском Ленинградский университет. Свои рапорта всегда старался писать как можно более простым и доходчивым языком, но попытку Саранского угодить московским «дундукам» оценил по достоинству. Не глупый все-таки тип, этот Андрей Евгеньевич, и, похоже, не самый подлый из всех, кого приходится встречать в жизни. Вон как ловко оттолкнулся от Постышева – мол, мелочь пузатая, недостойный объект, отщепенец. Глядишь, и оставят его в покое, и самого Саранского не тронут.

Но тут Столетов просчитался в своих прогнозах. Его справке и объяснительной записке Саранского в Москве придали серьезнейшее значение. Всё это попало на стол к тому человеку, который всегда составлял Полевому тыловую поддержку, будучи его дальним родственником и другом. Он несколько раз перечитал бумаги и понял, что в руки попал шанс рассчитаться со всеми: с Постышевым, с его новой и старой семьей, с Саранским, с его «тыловой поддержкой», да еще – вернуть утерянные позиции Полевому и, наконец, продемонстрировать всем, что главное качество чекиста, как он его понимал – ледяная, безжалостная мстительность, присуща ему и его людям.

Имя этого человека так и осталось неизвестным. Возможно, он и сейчас еще служит, исповедуя те же ценности, что и раньше, а, возможно, давно уже ушел в гражданскую политику и теперь вдумчиво и строго произносит важные, правильные слова, которые помогают ему в обостряющейся политической борьбе за «суверенную демократию и управляемую рыночную экономику».

Но тогда, в самом конце восьмидесятых, имена и приметы врагов были куда более ясными, чем теперь. Они не расплывались тогда в глазах в бесконечной ряби длинных колонок цифр и номеров банковских счетов.

Однажды утром тяжело вздыхающий Столетов попросил по телефону Саранского немедленно зайти к нему. Саранский почувствовал близкую беду в отчаянных, скрытых нотах его голоса.

Андрей Евгеньевич, волнуясь, распахнул дверь в кабинет Столетова и замер с разинутым ртом – на него смотрел, вальяжно развалившись на стуле, полковник Полевой. Столетов стоял у окна и нервно постукивал пальцами по раме.

– Вот, – сказал Антон Антонович, – Ваш старый знакомый: Георгий Игнатьевич Полевой. Прибыл из Москвы по вашу душу.

– Почему по его душу? – ехидно усмехнулся полковник Полевой, – Его душа светлая, чистая, без теней и черных тупичков, как говорится. Мы тут – по душу предателя Постышева. Верно, Андрей Евгеньевич?

Саранский растерянно пожал плечами. Он похолодел, увидев Полевого, и теперь никак не мог согреться – его мелко, противно трясло.

Антон Антонович подошел к столу, собрал какие-то бумаги, сунул их подмышку и мрачно сказал:

– Временно, на правах гостеприимного хозяина уступаю вам, Георгий Игнатьевич, свой служебный кабинет. Сейф я опустошил для вас, вот ключи от него, ... и от кабинета, вот телефон, бумага и всё прочее... Опечатайте своей личной печатью... не забывайте, пожалуйста... У нас тут это постоянно контролируется... Комиссия даже есть своя, внутренняя... Особенно к праздникам и к выходным... Так что..., действуйте. А я пошел... Меня через дежурного найдете, если понадобится.

Он приблизился к все еще стоявшему в дверях Саранскому и с пониманием, даже с неожиданной симпатией, сверху вниз, посмотрел ему в глаза, потом добавил:

– В отпуск я собрался... Как раз кстати и кабинет освобожу! У нас тут с этим проблема..., с местами-то. Андрей Евгеньевич знает. А мы с женой уже год как не отдыхали. Домой съездим, родителей жены навестим, деток-конфеток... Студенты они у нас, балбесничают, небось! Вот так! А вы тут хозяйничайте! Желаю успеха!

Бледный Саранский устало свалился на стул напротив Полевого и вдруг с отчаянием понял, что венское дело возвращается и что он слишком рано праздновал тогда победу.

– Смеется тот, кто смеется последним, – глубокомысленно изрек Полевой, будто услышал его мысли, и насмешливо оглядел поникшего Саранского.

Андрею Евгеньевичу передали год назад, как один из его старых приятелей в Вене, дипломат, сын академика, на редкость наблюдательный человек и неплохой литератор, составил об уехавшем вскоре в Москву Полевом несколько эмоциональную характеристику:

«Он грязен так, что о нем даже уже нельзя сказать, что он оставляет после себя следы грязи. Нет! Дело зашло слишком далеко. Он оставляет после себя *нечистоты*. Потому что грязь можно было бы смыть, выстирать, стереть, закрасить, в конце концов! А нечистоты не подлежат изменению. Они сами меняют структуру материала, на который наносятся, состав воздуха, который заражают, цвет пространства, в который проникают, а, точнее, который захватывают. Так вот он – носитель этих самых нечистот, как крыса нередко становится носителем чумы.

По его внешнему виду с определенностью сказать, что он привносит в общество нечистоты, нельзя. Достаточно приличный костюм, терпимая свежесть рубашки, не слишком выдающийся запах от носков, далеко не всегда – траур под ногтями. И все же, то, что он доставляет сюда антисанитарный климат, называемый нечистотами, чувствуется уже вскоре после его появления. А когда он уходит, необходимо долго и настойчиво проветривать и мыть помещение, а потом и вытравливать из памяти его присутствие, чтобы не вызвать острый приступ брезгливости.

Слово «нечистоты» в случае, упомянутом в связи с его именем, происходит от того же понятия, что и «нечистоплотность», «нечистый», «бесчестный» и даже – «подлый», как семантическое продолжение его».

Теперь глядя искоса на Полевого, Саранский вспомнил эти слова почти дословно. Он даже неосознанно потянул носом.

– Что? Простыл? – обеспокоено спросил Полевой и поднялся со скрипучего стула.

– Никак нет, – неожиданно по-уставному ответил Андрей Евгеньевич, – Запах просто какой-то..., не пойму...

– Это от меня! – согласно кивнул Полевой, – Я ночью прилетел, последним рейсом, даже умыться по-человечески еще не успел, а с шести утра уже здесь, на посту, так сказать..., чтобы обо всем договориться, со Столетовым посоветоваться... Мда! Как он? Ничего мужик?

Последнее было произнесено с некоей угрозой, с неприязнью. По мнению Полевого, на это должен был последовать ответ, что Столетов «мозгляк» и «интеллигент недобитый». Такие, мол, только позорят службу!

Саранский только покачал головой, из чего было неясно, что он думает о Столетове и вообще обо всем этом.

Полевой обошел стол, сел в кресло хозяина кабинета, примеряясь задом к нему. Покачался, недовольно сдвинулся сначала вправо, потом влево, отчаянно махнул рукой – мол, тут даже мебель имеет свойство быть неприспособленной к службе, и поднял глаза на Саранского:

– Итак, Андрей Евгеньевич, начнем всё сначала!

## Первый опыт

Много лет назад, когда еще юный Вадик Постышев поступил в московский институт международных отношений, на факультет журналистики, к нему сразу присмотрелась хорошенькая второкурсница из экономического факультета – Люда Савинкова.

Самое время рассказать об этом скоротечном романе, закончившемся свадьбой и рождением маленького светлоокого мальчика Коленьки. Впрочем, новорожденные все светлоокие и лишь часть из них сохраняет в жизни это свойство. Коленька сохранил – он так и остался ангелочком с голубыми глазами, светлой, нервной кожей и желтыми, с рыжинкой, густыми волосами. Молодые родители души в нем не чаяли, особенно, отец – Вадим Постышев.

И Вадим, и Люда родились в солидных семьях, детям которых был не заказан путь в престижные высшие учебные заведения, да и все проблемы, которые по обыкновению касались подавляющего большинства их сверстников, им самим не грозили. Отец Людмилы был дипломатом средней руки, работал в Европейском отделе МИД, часто выезжал в зарубежные командировки и был заслуженно причислен к надежным, кадровым специалистам внешнеполитического ведомства. Звезд с неба не хватал, но вполне соответствовал требованиям системы и времени. Да и знал свое место, что высоко ценилось в его ведомстве.

Батюшка же Вадима Постышева, дальний родственник другого, очень известного, Постышева, служил личным фотографом в свите генерального секретаря партии. Он относился к престижной когорте аттестованных в КГБ сотрудников аппарата ЦК, но это была лишь приятная формальность, потому что за всю свою жизнь, до смерти от инсульта, он не только ни разу не выполнял оперативных заданий, но и бывал-то в служебных помещениях комитета государственной безопасности лишь раз в год – для оформления каких-то хозяйственных, рутинных дел.

Так что, молодая семья Постышевых – Вадим, Людмила, а в дальнейшем и маленький Коленька, числилась среди проверенных, надежных и перспективных: с одной стороны из кадровых дипломатов (дед у Люды был даже когда-то дипкурьером, что считалось почему-то в Советах профессией героической), а с другой – профессиональный журналист, фотокорреспондент из высшего, «международного», сословия и к тому же, пусть и формально, но – чекист.

Двухкомнатную квартиру молодая семья получила по секретному ведомству Постышева-старшего, почти сразу после свадьбы, на юго-западной, престижной ее оконечности, в десяти минутах ходьбы от станции метро. О молодом поколении в ведомстве заботились всерьез, потому что, как известно из слов усопшего вождя, «кадры решают всё», и их, проверенных, следовало беречь и лелеять.

Остальная же, непроверенная публика, уже с самого начала должна была знать свой шесток и даже мысли не допускать о каком-либо сходстве с теми, другими, в своем значении для государства, для будущего, для высшей политики. Такие мысли о равенстве прав и возможностей были крамольны, политически незрелы. Они пресекались немедленно, без предупреждений и объяснений причин. Чаще всего документы таких амбициозных людей не достигали заветной цели – например, отдела кадров или какой-нибудь приемной комиссии, а в особенных случаях, когда «товарищ не понимал» сути проблемы, его документы вдруг терялись и находились лишь по окончании вступительного или конкурсного процесса. Если и тут не понимал, то находился уже более жесткий способ привести его в требуемое чувство.

Эта практика брала свое начало в незапамятные революционные годы, когда личные перспективы враждебных пролетариату и крестьянству классов подвергались искусственному усечению, а полуграмотные дети «трудовых классов» вполне открыто продвигались вверх, к тому рубежу, с которого государством могла управляться «каждая кухарка», по словам Ленина.

Однако изначальный смысл классового гнета был забыт, сохранив лишь саму технологию. Теперь важно было определить, кто должен был поддерживаться, а кто, напротив, сдерживаться всеми государственными оперативными силами. Вырабатывались иные, порой прямо противоположные начальным, понятия, и серьезно укреплялись. Тогда же и появилось новое слово «амбициозный». Если за границами страны, откуда оно и пришло, его значение имело чаще всего положительный смысл, то есть означало стремление к совершенствованию и к честолюбию, то внутри советского государства амбициозность ставилась в ряд наитяжелейших грехов, искупление которых, порой, возможно лишь в аду советской пенитенциарной системы. Амбициозные люди, игнорировавшие свои родовые анкеты, были опасней открытых врагов, и для борьбы с ними формировались стройные ряды специалистов-кадровиков, а те, в свою очередь, связывались с оперативными подразделениями государственной безопасности. Тут как на границе – даже тень врага не должна была пройти. Железный занавес внутри советского пространства был столь же непроницаемым, как и на его внешних рубежах.

Росту же утвержденного властью «кадрового резерва», проверенного и обласканного с рождения, ничто не должно было мешать – никакой нездоровой конкуренции, никаких амбициозных сравнений! Поэтому все взлеты молодых семей из советских проверенных чиновничьих родов происходили буднично, уверенно и вполне предсказуемо. Взлеты эти осуществлялись как на бытовом, так и на карьерном уровне. Ничего, казалось бы, не изменилось и теперь, однако в сравнении с прошлым нынешний потенциал молодых карьеристов необыкновенно расширился. Цепями, сдерживающими его, являлись и являются до наших дней, секретные инструкции органов безопасности, как бы они ни называли себя. Чем больше их значение, тем провереннее «кадры» и тем они больше подвержены деградации. Но, как известно, принц-идот все же остается принцем, а уж потом он – идиот. И то, если кто-то отважится его таковым признать. Отпрыски чиновничьих фамилий высшего и среднего разряда всегда могут рассчитывать на поддержку в силах государственной безопасности. Почему-то там считается, что заведомый бездарь из именитой фамилии менее опасен государству, чем талантливый чужак. На этом строится вся методика работы секретных ведомств. Главное, полагают там, следует дать мощный толчок на первой же ступени, задать инерцию полёту. Приложенные силы должны быть адекватными весу объекта и его значению в будущем. Не больше, но и не меньше! Найти золотую середину, уметь определить этот самый вес и составляет до сих пор главную стратегическую задачу сил безопасности. Имеет ли это прямое отношение к реальным государственным интересам или, не дай Бог, к правам человека, вопрос, скорее, теоретический, чем практический. Во всяком случае, советская кадровая система формировалась без оглядки на это. Главное, задать инерцию в нужном направлении: кому вверх, а кому и вниз.

В семье Постышевых всё так и складывалось: Вадим сразу попал по окончании факультета на работу в крупнейшее «телеграфное агентство», в североевропейский отдел, а Люда – в научный институт, занимавшийся намеренным искажением экономической науки в угоду идеологии, причем, в названии института присутствовали такие слова, как международные отношения и экономика. Люда сдала «кандидатский минимум» и, подстрекаемая мужем, очень быстро защитилась. Институт, в котором она делала свои первые научные ходы, в основном как раз занимался тем, о чем уже упоминалось: прикрытием разного рода разведывательных, диверсионных и сомнительных финансовых операций. Это научное учреждение, жившее под щедрой дланью Академии Наук СССР официально, и под густой тенью советских специальных служб неофициально, имело свои абсолютные аналоги на Западе. Там тоже существовали научные общества, которые, скорее занимались разведывательными изысканиями, нежели научными. Такие учреждения постепенно становились независимыми цитаделями с собственными системами защиты и нападения. Директора этих институтов были вхожи в кабинеты руководителей разведок, как их равные коллеги, а в некоторых случаях даже со временем возглавляли такие ведомства. Поэтому подбор кадрового научного потенциала подобных исследова-

тельских учреждений в СССР (прежде всего, в области «международных отношений, мировой экономики» и «рабочего движения») был особенно тщательным. Здесь не было места срывам или даже шатаниям. Люда Постышева по всем статьям отвечала строжайшим требованиям времени и пространства.

Всё это сообщается не во имя того, чтобы в очередной раз констатировать примитивное значение кадровой политики того времени, и не для того, чтобы показать близость времен, прошедших и нынешних, а исключительно ради того, чтобы понять, насколько дальнейшая, очень скорая судьба всей семьи Постышевых вошла в противоречие с согласованной системой государственной безопасности, и постараться найти хоть какое-то оправдание деятельности ее проверенных поборников. Например, таких, как полковник Полевой.

По большому счету, предстояло столкновение не чуждых друг другу систем, а внутренних, противоречащих на клеточном уровне, и в то же время единоутробных плодов. В таких случаях природа не находит иного выхода, как взаимное уничтожение, независимо от сил сторон. Организм, если не произвести вовремя ампутации или оперативного изъятия взбунтовавшейся ткани, непременно погибнет от острой формы сепсиса. То есть сгниет на корню. Любое промедление смерти подобно! Полевой, если и не мог обосновать это теоретически, то практическую сторону знал хорошо. Он был великолепным рубакой, блестящим «ампутантом», мясником высшего разряда. Терапию не признавал, как вреднейшее заблуждение интеллигентных теоретиков. Их бы самих, считал он, ампутировать вместе с отторгающейся тканью. Но к таким, как он, не всегда прислушивались, хотя их ценили и ценят до сих пор, как людей решительных, бескомпромиссных и результативных. Однако же иной раз наступает их время – время грубой *полевой* хирургии, когда не до сантиментов, не до микробиологических исследований, не до соплей. Вон терапию! Тут следует хорошенько рубануть или резануть! И желательно, большее, чтобы убедиться, что больной не сдох на операционном столе под ножом иди ампутационной пилой. Потом, в палате, уж как получится. Но хирургическую статистику портить никому не позволено.

И все же болезнь заводится в теле незаметно для коновалов, они для этого недостаточно внимательны, не достаточно тонки, чтобы заметить такое. Клетка, чаще всего, уже изначально подпорчена, поражена внутренними, невидимыми глазу, изменениями. Чтобы понять это, нужно изучить весь ход ее развития, присмотреться к ее тайной, тихой жизни.

...Подошла первая зарубежная командировка на год: Вадима отправляли в Швецию. Именно этого языка он как раз и не знал, но с него взяли слово, что он устроится на какие-то очень скорые курсы и овладеет им в нужном объеме. За четыре месяца курсов (пять дней в неделю) молодая постышевская память поглотила такое количество шведских слов, что этого вполне хватало на прочтение шведских газет, на несложные интервью с использованием стандартной политической лексики и даже на развернутые отчеты об этом в Москву.

К изучению иностранных языков он был подготовлен всей своей предыдущей учебной – немецкий, английский и факультативно итальянский он постигал еще на факультете, и при этом весьма успешно, весьма продуктивно. Поэтому и здесь он не встретился со сложностями в одолении шведской грамматики, в постижении ее логики, а уделял большее внимание лексике языка, то есть своему словарному запасу.

Уехали втроем – с Людой и с сыном. Это были самые счастливые дни в их жизни, своего рода, апогей их брачного периода.

Пока жили в Стокгольме, Люда стала писать уже докторскую диссертацию, которая развивала мысль предыдущей ее научной работы о том, что «шведская модель» ни в коей мере социалистической не является, а самая что ни на есть империалистическая, лживая и опасная, оппортунистичная выдумка. В первые же полгода Люда тоже довольно сносно освоилась с языком и теперь просиживала часами подряд в королевской библиотеке, в роскошном читальном зале и заказывала копии современных документов с искренностью говорящих о том, что не всё

ладно в местном королевстве. Делалось это скандинавами не для того, чтобы причинить себе вред, а ради научной, теоретической истины, без которой они поему-то не мыслили практического успеха. Им и в голову не приходило, что их незасекреченная искренность (как, например, у соседей – в СССР) способна принести им вред. Они, по своей северной наивности, не видели в этом опасного для них же оружия пропаганды, чего не скажешь о молодой советской ученой из института, исследующего особенности мировой экономики и международных отношений. Люда мысленно потирала руки и хищно ухмылялась. Диссертация явно ладилась. Ведь вот как хорошо у них, у шведов, с практикой, но как плохо, как неосмотрительно плохо – с теорией! У нас не все в порядке с практикой, рассуждала в те годы Люда Постышева, зато теоретическая мысль ясно изложена в многотомниках вождей, в современных политических документах. Эта теоретическая мысль рождалась в свое время в головах некоторых наших вождей в том числе и на их национальных территориях. Что из того, что практика и теория разошлись в разные стороны по строгой разновекторной прямой! Научные докторские звания даются не за это.

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.